АЗБУКА ВЕРЫ

Лондон Джек

Алая чума

Художественная литература · azbyka.ru

Алая чума – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/alaya-chuma

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Алая чума

Лондон Джек

I

Тропа шла по возвышению, которое когда-то было железнодорожной насыпью. Но уже много лет тут не проходил ни один поезд. С обеих сторон к насыпи подступал лес, деревья и кустарник поднимались по склонам, и зеленая волна захлестывала узкую, где не разойтись вдвоем, звериную тропу. Кое-где из земли торчали куски металла, свидетельствовавшие о том, что внизу, под слоем слежавшихся листьев и мха, были рельсы и шпалы. В одном месте молодое, дюймов десять толщиной, деревце разорвало стык и загнуло конец рельса кверху. Вместе с рельсом, повиснув на длинном костыле, причудливо вздыбилась полусгнившая шпала; то место, куда она была уложена, давно занесло песком и опавшими листьями. Угадывалось, что дорога была однорельсового типа, хотя и пришла в полный упадок.

По тропе шли двое: старик и мальчик. Они шагали медленно, ибо старик был очень дряхл; он тяжело опирался на палку, руки и ноги у него дрожали. Грубая шапка из козлиной шкуры защищала его голову от солнца. Из-под шапки выбивались редкие пряди грязно-белых волос. Старик надвинул на глаза козырек, хитроумно сделанный из большого листа, и пристально вглядывался, куда ступать. Его борода, большими спутанными космами спадавшая на грудь, была бы белой как снег, если бы не дым костров и непогода.

Облезлая козья шкура составляла все его одеяние. Тонкие, высохшие руки и ноги выдавали крайне преклонный возраст старика, равно как потемневшая от загара кожа, многочисленные шрамы и царапины говорили о том, что долгие годы ему пришлось провести под открытым небом.

Мальчик шел впереди, с трудом приноравливаясь к медленным шажкам старика; одеждой ему также служил кусок обтрепанной шкуры с неровными краями и дырой посередине для головы. Ему было лет двенадцать, не больше. В волосы он кокетливо воткнул недавно отрезанный кабаний хвост. В руке он держал небольшой лук и стрелу, за спиной болтался колчан. Из ножен, висевших на ремне, перекинутом через шею, торчала щербатая рукоятка охотничьего ножа.

Мальчишка был черен от загара и ступал мягко, по-кошачьи. Контрастом к его опаленному солнцем лицу были синие глаза, смотревшие пытливо и проницательно. Казалось, он сверлил взглядом каждый предмет, попадавшийся на пути. Кроме того, он чувствовал малейшие запахи, и вздрагивающие, раздувающиеся ноздри доносили в его мозг нескончаемый поток сигналов из внешнего мира. Он обладал острым, тренированным слухом. Не прилагая никаких усилий, он улавливал в кажущемся безмолвии легчайшие звуки, улавливал, различал и группировал их, будь то шелест листьев на ветру, жужжание пчелы или звон комара, гул далекого прибоя, слышимый только в минуту затишья, или возня суслика на тропе, совсем рядом, подтаскивающего землю к отверстию своей норы.

Внезапно мальчик насторожился. Зрение, слух и обоняние одновременно предупредили его о какой-то опасности. Не оборачиваясь, он предостерегающе коснулся рукой старика, и оба замерли. Впереди, у самого края насыпи, захрустели ветки; мальчик устремил взгляд на закачавшуюся верхушку куста. Оттуда вывалился огромный серый медведь и, увидев людей, тоже остановился как вкопанный. Встреча, очевидно, была ему не по душе, и он угрожающе заворчал. Мальчик медленно приложил стрелу к луку и так же медленно натянул тетиву. Он

не сводил глаз с медведя. Старик не шелохнулся и тоже уставился на медведя из-под своего козырька. Люди и зверь внимательно несколько секунд изучали друг друга; медведь начал обнаруживать признаки нетерпения, и мальчик кивком головы показал старику, чтобы тот сошел с тропы и спустился с насыпи. Сам он тоже стал пятиться назад, держа лук наготове. Они подождали немного, пока с другого склона насыпи не послышался треск ломаемых кустов, — зверь прошел. Когда они снова поднимались наверх, мальчик усмехнулся:

— Крупный!

Старик покачал головой.

— Их все больше с каждым днем, — пожаловался он тоненьким, надтреснутым голоском. — Разве я думал, что доживу до такого времени, когда люди будут бояться ходить здесь! Помню, когда я был маленьким, в хороший день люди целыми семьями приезжали сюда из Сан-Франциско. И никаких медведей не было. Да, сэр, никаких. Так редко попадались медведи, что люди платили деньги, чтобы посмотреть на них в клетках.

— А что такое деньги, дед?

Прежде чем старик успел ответить, мальчик, вспомнив что-то, торжествующе сунул руку в сумку, которая свисала у него под шкурой, и вытащил тусклый, потертый серебряный доллар. Старик поднес монету к носу, глаза его заблестели.

— Ничего не вижу, — пробормотал он. — Посмотри-ка, Эдвин, может быть, разберешь год чеканки.

Мальчик засмеялся.

— Ну и чудной же ты! Все врешь, будто эти крохотные черточки что-то значат.

По лицу старика пробежала тень привычной грусти, и он снова поднес монету к глазам.

— Две тысячи двенадцатый год! — взвизгнул он и залился полубезумным смешком. — Как раз тогда Правление Магнатов назначило Моргана Пятого президентом Соединенных Штатов! Это, должно быть, одна из последних монет: ведь Алая Смерть пришла в 2013 году. Господи, подумать только! Минуло уже шестьдесят лет, и я единственный, кто остался в живых с тех времен. Эдвин, где ты нашел эту монету?

Мальчик, слушавший старика с тем терпеливо-снисходительным видом, с каким слушают болтовню слабоумного, тут же ответил:

— Мне дал ее Хоу-Хоу, а он нашел ее прошлой весной, когда пас коз у Сан-Хосе. Хоу-Хоу сказал, что это деньги. Дед, ты разве не хочешь есть?

В глазах у старика мелькнул голодный огонек, и, покрепче ухватив свою палку, он заковылял по тропе.

— Хорошо, если Заячья Губа поймал краба, а то и двух… — бормотал он. — У крабов вкусное мясо, очень вкусное, особенно когда нет зубов, но зато есть внуки, которые любят своего дедушку и стараются поймать ему краба. Когда я был мальчиком…

Эдвин вдруг увидел что-то и остановился, натягивая лук. Он стоял как раз на краю овражка. Некогда здесь проходила дренажная труба, которая потом развалилась, и вздувшийся ручей

размыл насыпь. На другом краю овражка, нависая над обрывом, торчал ржавый рельс, обвитый диким виноградом. Подальше, у куста, припал к земле кролик, испуганно поводя глазами. Расстояние было футов пятьдесят, но стрела, мелькнув в воздухе, настигла цель; раненый зверек, пискнув от испуга и боли, тяжело запрыгал в заросли. Тут же мелькнули загорелое тело и развевающаяся шкура: мальчик прыгнул с откоса и одним духом взобрался на противоположную сторону оврага. Молодые мускулы его играли точно эластичные пружины. Футов через сто в кустарниковой чаще он настиг кролика, размахнувшись, ударил его головой о ближний ствол и отдал нести старику.

— Мясо кролика очень вкусное, — начал старик дребезжащим голоском, — но уж если говорить о деликатесах, то я предпочитаю крабов. Когда я был мальчиком...

— Отчего ты все время болтаешь какую-то чепуху? — досадливо прервал мальчик своего словоохотливого спутника.

Он произнес отнюдь не эти слова, но какие-то лишь отдаленно напоминающие их, гортанные, взрывные звуки, составлявшиеся в короткие, отрывистые слова, почти не передающие оттенки смысла. В его речи угадывалось сходство с речью старика, похожей на дурной, испорченный английский язык.

— Почему ты вместо «краб» говоришь «деликатес»? — продолжал мальчик.

— Краб — это краб. Никогда не слышал такое смешное название!

Старик вздохнул, ничего не ответил, и дальше они шагали молча. Рокот прибоя стал слышнее, когда они вышли на опушку леса, к гряде песчаных дюн, подступавших к морю. Между дюнами бродили козы, пощипывая скудную травку; за козами присматривал одетый в шкуру подросток с большой, волчьего обличья, собакой, чем-то напоминавшей шотландскую овчарку. К шуму прибоя примешивался не то лай, не то какие-то всхлипы — низкие, нутряные, доносившиеся с больших остроконечных камней ярдах в ста от берега. Туда выползали огромные морские львы, грелись на солнце, дрались друг с другом. Поблизости вздымался дымок от костра, похожий на дикаря мальчишка подкладывал в огонь сучья. Рядом лежали несколько псов, совсем таких же, как тот, что сторожил коз. Старик ускорил шаг и, подходя к костру, стал жадно принюхиваться.

— Мидии! — пробормотал он восторженно. — И, кажется, еще краб, Хоу-Хоу? Ну, мальчики, вы и в самом деле любите своего старого дедушку!

Хоу-Хоу, паренек примерно того же возраста, что и Эдвин, засмеялся.

— Тебе хватит, дед. Я поймал четырех крабов.

Жалко было смотреть, как от жадного нетерпения у старика тряслись руки. Торопливо, насколько позволяли негнущиеся колени, он опустился на песок и палкой выкатил из углей крупную мидию. От жара створки раковины раскрылись, и розоватое мясо отлично запеклось. Старик задрожал, схватил кусок моллюска большим и указательным пальцами и поднес ко рту. Но кусок оказался чересчур горячим, и он в тот же миг выплюнул его. Старик захныкал от боли, на глазах выступили слезы и покатились по щекам.

Мальчишки были настоящие дикари, и их юмор был весьма груб и примитивен. Происшедшее показалось им ужасно смешным, и они разразились громким смехом. Хоу-Хоу приплясывал у костра, а Эдвин в полнейшем восторге катался по земле. Прибежал мальчишка, стерегущий коз, чтобы тоже принять участие в веселье.

— Эдвин, остуди их, пожалуйста! — умолял огорченный старик, не пытаясь даже вытереть слезы, бежавшие из глаз. — И достань также краба, Эдвин. Ты же знаешь, твой дедушка любит крабов.

Раковины подсыхали на угольях и лопались от жара с громким шипеньем. Моллюски были большие, от трех до шести дюймов длиной. Мальчишки выгребали их из золы палками и, чтобы остудить, складывали на бревно, выброшенное на берег.

— Когда я был мальчиком, мы не смеялись над старшими, мы почитали их.

Поток бессвязных жалоб и упреков не прекращался, но внуки не обращали на деда никакого внимания. Все принялись за еду, действуя одними руками, громко чавкая и причмокивая. Старик ел осторожно, старался не спешить, чтобы снова не обжечься. Третий мальчишка, по прозвищу Заячья Губа, незаметно насыпал щепотку песка на кусок моллюска, который дед подносил ко рту; песчинки вонзились тому в небо и десны, и тут снова раздался оглушительный хохот. Бедняга не догадывался, что с ним сыграли злую шутку, он фыркал и отплевывался до тех пор, пока Эдвин, смилостивившись, не подал ему тыкву со свежей водой, чтобы прополоскать рот.

— Где же крабы, Хоу-Хоу? — спросил Эдвин. — Дед хочет есть.

В глазах старика опять зажегся голодный огонек, когда ему подали краба. Клешни, панцирь — все было цело, но мясо внутри давно высохло. Дрожащими пальцами, в предвкушении удовольствия, старик оторвал одну клешню и обнаружил, что внутри пусто.

— Где же мясо, Хоу-Хоу? Где же мясо? — захныкал он.

— Я пошутил, дед. Крабов нет. Я не поймал ни одного.

По сморщенным щекам старика катились слезы бессильной обиды и разочарования, а мальчишки чуть не визжали от восторга. Потом Хоу-Хоу на место высохшего краба незаметно подложил другого, только что из золы. Клешни у него были уже оторваны, и от белого мяса шел ароматный пар. Почувствовав знакомый запах, старик удивленно посмотрел вниз. Уныние его тотчас сменилось радостью. Он жадно втянул воздух, чуть ли не воркуя от восторга, и набросился на еду. Это привычное зрелище не останавливало внимания внуков. Не замечали они ни отрывочных восклицаний, которые, причмокивая и чавкая, издавал старик, ни его бессмысленных, как казалось им, фраз: «Ах, майонеза бы! Майонеза! Шестьдесят лет — два поколения! — не попробовать, даже не видеть майонеза. А ведь тогда его подавали к крабам в каждом ресторанчике».

Наевшись до отвала, старик вздохнул, вытер руки о голые колени и задумчиво посмотрел на море. С ощущением сытости нахлынули воспоминания.

— А ведь когда-то на этом самом берегу было полным-полно народу, особенно по воскресеньям! И никто не боялся медведей. А вон там, как раз на скале, стоял большой ресторан, и кормили там преотлично и выбор был богатый. Четыре миллиона человек жили тогда в Сан-Франциско. Теперь в городе и во всем графстве и сорока человек, пожалуй, не наберется. По заливу беспрерывно плыли корабли: одни входили в Золотые Ворота, другие шли в открытое море. А в небе — воздушные корабли, дирижабли и аэропланы. Они делали по двести миль в час. Почтовая компания «Нью-Йорк энд Сан-Франциско лимитед» считала такую скорость минимальной. Был один француз, забыл его имя, — так ему удалось сделать триста миль. Но это было рискованно, слишком рискованно, по мнению консервативной публики. Но он шел по верному пути и наверняка добился бы большего, если бы не Великий Мор. В детстве я знал

стариков, которые видели появление первых аэропланов, а теперь мне самому довелось стать свидетелем того, как исчезли последние аэропланы, и это было шестьдесят лет назад.

Внуки не слушали словоохотливого старика: они давно привыкли к его болтовне, и большая часть слов к тому же была им непонятна. Случившийся тут наблюдатель мог бы заметить, что в бессвязных разговорах старика с самим собой речь его обретала в какой-то степени былую стройность и изящество слога. Но когда он обращался к внукам, то снова бессознательно подлаживался к их грубому, примитивному языку.

— Тогда, правда, было мало крабов, — разглагольствовал старик. — Их повыловили. И они считались самым изысканным деликатесом. Да и сезон ловли длился какой-нибудь месяц. А теперь крабов можно раздобыть в любое время года. И что удивительно: их можно наловить тут же, в прибрежных камнях у скалы, где стоял ресторан!

Пасущиеся неподалеку козы вдруг забеспокоились, сбились в кучу, и мальчишки вскочили на ноги. Собаки у костра кинулись к своему рычащему товарищу, который стерег стадо, а козы поскакали под защиту людей. С полдюжины серых отощавших волков пробирались среди дюн, готовые напасть на рычащих собак. Эдвин пустил стрелу, но она упала, не долетев до цели. Тогда Заячья Губа раскрутил пращу — вроде той, наверное, с какой Давид пошел на Голиафа, и так сильно метнул камень, что он просвистел в воздухе. Камень упал посреди стаи, и напуганные волки отступили в чащу эвкалиптового леса.

Мальчишки засмеялись и снова улеглись на песок, а старик задумчиво вздохнул. Он явно переел и теперь, сплетя пальцы на животе, снова принялся разглагольствовать.

— «Миры проходят словно дым», — продекламировал он, очевидно, строку из какого-нибудь автора. — Да, все быстротечно, как дым. И человеческая цивилизация на этой планете — тоже дым. Люди одомашнили животных, которых удалось приручить, уничтожили диких зверей, расчистили землю от буйной растительности. Но потом человечество умерло, планету захлестнул поток первобытной жизни, сметая на своем пути все, что сделали люди; леса и сорная трава надвинулись на поля, хищники растерзали стада, и вот по берегу, где стоял ресторан, бродят волки. — Старик ужаснулся собственным мыслям. — Там, где когда-то беспечно жили четыре миллиона людей, теперь рыщут голодные волки, и нашим одичавшим потомкам приходится защищаться доисторическим оружием от четвероногих грабителей. И все это из-за Алой Смерти…

Слово «алый» остановило внимание Заячьей Губы.

— Затвердил одно и то же — сказал он Эдвину. — Что это такое — а л а я?

— «Волнует так же нас кленовый алый лист, как звук охотничьего рога»,

— снова продекламировал старик.

— Это значит «красный», — ответил Эдвин Заячьей Губе. — Ты не знаешь этого, потому что происходишь из племени Шофера. А они ничего не знают. «А л ы й» означает «красный», это точно.

— «Красный» — это «красный», так ведь? Зачем же задаваться и говорить «алый»? — ворчал Заячья Губа. — Дед, почему ты всегда говоришь такие слова, которые никто не понимает? — обратился он к старику. — «Алый» ничего не означает, но все знают, что такое «красный». Почему же ты не говоришь «красный»?

— Потому, что это неточно. Чума была алая. За какой-нибудь час все лицо и тело становились алыми. Уж кому-кому знать, как не мне! Все происходило на моих собственных глазах. И я утверждаю, что чума была алой, потому что… ну, потому что она на самом деле была алой, и все. Другого слова нет.

— А по мне лучше «красная»! — упрямился Заячья Губа. — И отец у меня красное называет красным, а уж он-то знает. Он рассказывал, что все умерли от Красного Мора.

— Твой отец — простолюдин, и предки его — простолюдины. Я ведь знаю, откуда пошло племя Шоферов. Твой дед был шофер, слуга. Он не имел никакого образования, и служил у других людей. Правда, твоя бабка из хорошей семьи, но дети не пошли в нее. Отлично помню, как в первый раз встретил их: они ловили рыбу на озере Темескал.

— А что такое о б р а з о в а н и е? — спросил Эдвин.

— Это когда красное называют алым, — насмешливо ввернул Заячья Губа и снова принялся за старика. — Отец говорил мне, что жена у тебя была из племени Санта-Роса, и никакая не знатная. Это ему рассказывал его отец — до того, как загнулся. Он говорил, что перед Красным Мором она была подавальщицей в харчевне, хотя я не знаю, что это такое. А ты знаешь, Эдвин?

Эдвин отрицательно помотал головой.

— Да, она была официанткой, — признался старик. — Но она была хорошая женщина и мать твоей матери. После Чумы мало осталось женщин. Она оказалась единственной женщиной, какую я мог взять в жены, хотя она и служила подавальщицей в харчевне, как выражается твой отец. Однако нехорошо так говорить о своих предках.

— А отец говорил, что жена первого Шофера был л е д и…

— Что такое л е д и? — поинтересовался Хоу-Хоу.

— Леди — это женщина Шофера, — быстро отозвался Заячья Губа.

— Первого Шофера звали Билл, он был, как я уже сказал, простолюдин, — объяснил дед, — но жена у него была леди, знатная леди. До Алой Чумы она была женой Ван Уордена, президента Правления Промышленных Магнатов, одного из тех десяти человек, которые управляли Америкой. Ван Уорден стоил миллиард восемьсот миллионов долларов — таких монет, как у тебя в сумке, Эдвин. А когда пришла Алая Смерть, она стала женой Билла, основателя племени Шофера. Как он ее колотил! Я своими глазами видел.

Хоу-Хоу, который, лежа на животе, разгребал от нечего делать ногами песок, вдруг вскрикнул и осмотрел сначала большой палец на ноге, а потом ямку, которую он вырыл. Двое других мальчишек тоже принялись быстро раскидывать песок руками и вскоре отрыли три скелета. Два из них были скелетами взрослых людей, третий — ребенка. Старик присел на корточки, всматриваясь в находку.

— Жертвы Чумы, — объявил он. — Последние дни несчастные умирали всюду прямо так, на ходу. Это, должно быть, одна семья, которая спасалась бегством, чтобы не заразиться, и смерть настигла их здесь, на берегу. Они… Послушай, что ты делаешь, Эдвин?

В голосе старика слышалось смятение: Эдвин, действуя тупой стороной охотничьего ножа, старательно выбивал зубы из челюстей одного из черепов.

— Сделаю бусы! — ответил он.

Мальчишки, принявшись за дело, подняли отчаянный стук и не слушали старика.

— Да вы же настоящие дикари!.. Итак, уже вошли в моду бусы из человеческих зубов. Следующее поколение продырявит себе носы и нацепит украшения из костей и ракушек. Так оно и будет. Человеческий род обречен погрузиться во мрак первобытной ночи, прежде чем снова начнет кровавое восхождение к вершинам цивилизации. А когда мы чрезмерно расплодимся и на планете станет тесно, люди начнут убивать друг друга. И тогда, наверное, вы будете носить у пояса человеческие скальпы, как сейчас… как сейчас ты, Эдвин, носишь этот мерзкий кабаний хвост. И это самый мягкий из моих внуков! Выброси этот хвост, Эдвин, выброси его!

— И чего он все бормочет, этот старикашка! — заметил Заячья Губа, когда мальчишки, собрав зубы, взялись за дележ добычи.

Движения у них были быстрые и резкие, речь, особенно в минуту спора из-за какого-либо очень уж крупного или красивого зуба, несвязна и отрывиста. Они говорили односложными словами и короткими, рублеными фразами — скорее бессмысленная тарабарщина, нежели язык. И все же угадывались в них следы грамматических конструкций, некое отдаленное сходство с формами высокоразвитого языка. Даже речь старика была настолько испорчена, что читатель ничего не понял бы, если записать ее буквально. На этом подобии языка он обращался, правда, только к внукам. Когда же он входил во вкус и разговаривал сам с собой, речь его понемногу очищалась, приближалась к литературной. Предложения удлинялись, приобретали отчетливый ритм и легкость, которые свидетельствовали о былом навыке говорить с кафедры.

— Расскажи нам о Красной Смерти! — попросил деда Заячья Губа после того, как мальчишки, к общему согласию, закончили дележ зубов.

— Об Алой Смерти, — поправил Эдвин.

— И давай без этих чудных слов, — продолжал Заячья Губа. — Говори понятно, дед, как говорят все Санта-Роса. Никто не говорит так, как ты.

II

Старику явно польстила эта просьба. Он откашлялся и начал:

— Лет двадцать — тридцать тому назад очень многие просили меня рассказать об Алой Чуме. Теперь, к сожалению, никого, кажется, не интересует…

— Ну вот, опять! — недовольно воскликнул Заячья Губа. — Неужели ты не можешь не молоть чепухи? Говори понятно. Что такое «интересует»? Лопочешь, как грудной младенец!

— Не приставай ты к нему, — вмешался Эдвин, — а то он разозлится и совсем не будет рассказывать. Плюнь ты на чудные слова! Что-нибудь поймем — и ладно.

— Давай, давай, дед! — поторопил Хоу-Хоу, так как старик тем временем начал уже распространяться о неуважении к старшим и о том, какими жестокими становятся люди, когда гибнет цивилизация и они попадают в первобытные условия.

Старик начал свой рассказ:

— На земле тогда жило очень много народу. В одном только Сан-Франциско было четыре миллиона…

— А что такое «миллион»? — спросил Эдвин.

Старик ласково взглянул на него.

— Я знаю, что вы умеете считать только до десяти, поэтому сейчас я объясню. Покажи свои руки. Вот видишь, на обеих руках у тебя десять пальцев, так? Отлично. Теперь я беру песчинку… Держи ее, Хоу-Хоу. — Старик положил песчинку мальчику на ладонь. — Эта песчинка означает как бы десять пальцев Эдвина. Я добавлю еще одну песчинку — значит, еще десять пальцев. Потом я добавлю еще, и еще, и еще… до тех пор, пока песчинок не будет столько, сколько у Эдвина на руках пальцев. Это составит «сто». Запомни это слово: «сто». Теперь я кладу в руку Заячьей Губе камешек. Он означает десять песчинок, или десять десятков пальцев, то есть сто пальцев. Затем я кладу десять камешков. Они означают тысячу пальцев. Далее я беру ракушку, которая будет означать десять камешков, или сто песчинок, или тысячу пальцев…

Старик терпеливо, то и дело повторяя объяснения, старался постепенно внушить внукам самое общее представление о счислении. По мере увеличения чисел он давал им в руки предметы различных размеров. Предметы, означающие крупные величины, он складывал на бревне и оказался в затруднении, потому что для обозначения миллионов ему пришлось взять зубы, выбитые мальчишками из черепов, а для миллиардов — панцири от крабов. Потом он остановился, потому что заметил, что внуки устали от его объяснений.

— Так вот, в Сан-Франциско было четыре миллиона человек — кладем четыре зуба.

Мальчишки медленно перевели взгляд с зубов, уложенных в ряд на бревне, к себе на руки, затем на камешки, песчинки и, наконец, на пальцы Эдвина. Потом взгляд скользнул назад, в восходящем порядке — они силились охватить умом такое непостижимое количество.

— Это очень много народу, дед, — неуверенно предположил наконец Эдвин.

— Да, очень много народу — как песку на берегу, причем каждая песчинка — это взрослый или ребенок. Да, милый, и все эти люди жили здесь, в Сан-Франциско. И когда они приезжали сюда, на этот берег, их собиралось здесь больше, чем песчинок. Больше, гораздо больше! Сан-Франциско считался красивым городом. А там, за заливом, где в прошлом году находилось наше становище, жило еще больше народу. На всем протяжении от мыса Ричмонд до Сан-Леандро, на равнине и на холмах, раскинулся как бы один большой город с семимиллионным населением. Понимаете? Семь зубов… вот они семь миллионов.

И снова мальчишки перевели глаза с пальцев Эдвина на зубы, сложенные на бревне, и обратно.

— Мир был переполнен людьми. Численность населения земли по переписи 2010 года составляла восемь миллиардов, да, да, восемь миллиардов — восемь панцирей от крабов. Не то что сегодня. Люди знали множество способов, как добывать пищу. Чем больше было еды, тем больше рождалось людей. В 1800 году только в одной Европе было сто семьдесят миллионов. Сто лет спустя — положи песчинку, Хоу-Хоу, — в 1900 году, там насчитывалось уже пятьсот миллионов, значит, к пяти песчинкам надо добавить один зуб. Это показывает, как легко стало добывать пищу и как быстро увеличивалось население. В 2000 году Европу населяло уже пятнадцать сотен миллионов. То же самое было повсюду. Вот эти восемь панцирей от крабов означают восемь миллиардов человек, которые населяли землю в то время, когда началась Алая Чума.

Тогда я был молодым человеком, двадцати семи лет, и жил по ту сторону залива Сан-Франциско, в Беркли. Эдвин, ты помнишь те огромные каменные дома, которые мы видели, когда спустились с холмов Контра Коста? Вот там-то я и жил, в тех каменных домах. Я был профессор английской литературы.

Многое из того, что рассказывал старик, было выше разумения его внуков, и все же они жадно слушали, стараясь понять события прошлого.

— А зачем нужны эти каменные дома? — спросил Заячья Губа.

— Помнишь, как отец учил тебя плавать?

Заячья Губа кивнул.

— Ну вот, в Калифорнийском университете — так назывались те каменные дома — мы учили юношей и девушек думать — точно так же, как я с помощью песчинок, камешков и крабьих панцирей растолковал вам, сколько людей жило в те времена. Учить приходилось многому. Юноши и девушки, которых мы учили, назывались студенты. Они собирались в больших комнатах, человек сорок, пятьдесят сразу, и я говорил им всякие вещи. Ну, так же, как сейчас рассказываю вам. Рассказывал о книгах, которые были написаны много лет назад, а иногда даже и в то самое время…

— Так это все, что ты делал: говорил, говорил и говорил? — удивился Хоу-Хоу. — А кто же добывал мясо, кто доил коз, кто ловил рыбу?

— Разумный вопрос, Хоу-Хоу, разумный вопрос! Как я уже сказал, добывать пищу в те времена было просто. Мы были очень умные. Несколько человек могли добывать пищу для многих. А остальные занимались другими делами. Вот я, как ты сказал, только говорил. Да, я говорил, говорил все время, и за это мне давали еду, много еды, отличной еды. Такой я не пробовал шестьдесят лет и вряд ли теперь попробую. Знаете, иногда я склонен думать, что самым удивительным достижением нашей гигантской цивилизации была еда — ее непостижимое обилие, бесконечное разнообразие и восхитительный вкус. Да, мальчики, то была настоящая жизнь — какие вкусные вещи мы ели!

Внукам были непонятны эти восторги, но они решили, что дед, по обыкновению, заговаривается от старости.

— Тех, кто добывал нам пищу, звали с в о б о д н ы м и л ю д ь м и. Но это была шутка. Мы, принадлежащие к правящему классу, владели землей, машинами, всем на свете, а те люди были нашими рабами. Мы забирали себе почти всю пищу, которую они добывали, и оставляли им лишь самую малость, чтобы они были в состоянии работать и добывать для нас еще больше пищи.

— А я пошел бы в лес и раздобыл бы себе еду, — заявил Заячья Губа. — И попытайся кто-нибудь отнять ее у меня, я убил бы его.

Старик засмеялся.

— Ведь я сказал, что мы, люди, принадлежащие к правящему классу, владели и землей, и лесами, и всем остальным. Тех, кто отказывался добывать для нас пищу, мы наказывали или обрекали на голодную смерть. Но таких попадалось немного. Большинство предпочитало все-таки добывать нам пищу, шить нам одежду и вообще делать для нас тысячу — положи ракушку, Хоу-Хоу, — тысячу всяких приятных вещей. Меня в те времена звали профессор Смит,

профессор Джеймс Говард Смит. Мои лекции были очень популярны, иначе сказать, многие юноши и девушки любили слушать, как я рассказывал о книгах, которые написали другие люди. Я был счастлив и ел вдоволь всяких вкусных вещей. Руки у меня были мягкие, потому что я не работал ими, и тело чистое, и одежда самая изящная… — Старик с отвращением посмотрел на свою облезлую шкуру. — Такого мы не носили. Даже рабы одевались лучше. И кожа у нас всегда была чистая. Каждый день мы по многу раз умывали лицо и руки. А вот вы никогда не умываетесь — разве что упадете в воду или вздумаете поплавать.

— Но ведь и ты не умываешься, дед, — возразил Хоу-Хоу.

— Куда уж там! Времена не те. Теперь я грязный старикашка. И никто не умывается, да и нечем. За шестьдесят лет я не видел ни одного куска мыла. Вы не знаете, что такое «мыло», и я не стану объяснять вам, потому что я рассказываю о другом — об Алой Смерти. Вот все вы знаете, что такое хворь. Прежде мы называли это болезнью. Очень многие болезни вызывались микробами. Запомните это слово — «ми-кро-бы». Микроб — это такое крохотное существо. Наподобие клещей, какие бывают на собаках весной, когда они убегают в лес. Только микроб еще меньше. Его даже не видно…

Хоу-Хоу расхохотался.

— Ну и чудной же ты, дед! Как же можно говорить о том, чего не видно? Если ты не видел эти штуки, откуда ты знаешь, что они есть? А ну-ка, объясни! Разве можно знать то, что не видишь?

— Разумный вопрос, Хоу-Хоу, очень разумный. И все-таки нам удалось увидеть кое-каких микробов. Дело в том, что у нас были такие устройства — они назывались микроскопы и ультрамикроскопы. Мы приставляли их к глазу и смотрели через них, и тогда все вещи становились больше, чем они есть на самом деле, а многого мы вообще без микроскопов не видели. Лучшие наши ультрамикроскопы увеличивали микробов в сорок тысяч раз. Вы не забыли, что ракушка обозначает тысячу человеческих пальцев? Возьмите сорок ракушек — во столько же раз микроб выглядел больше, когда мы смотрели на него в микроскоп. Кроме того, у нас было еще одно устройство — киноэкран, с его помощью увеличенный в сорок тысяч раз микроб становился еще во много тысяч раз больше. Так мы разглядели все, что не видно простому глазу. Возьмите одну песчинку и разделите ее на десять частей. Потом одну часть в свою очередь разломите на десять частей, потом еще на десять, еще и еще на десять и делайте это весь день, и тогда к закату, может быть, вы получите такую же маленькую крупицу, как микроб.

Мальчишки смотрели на старика с нескрываемым недоверием. Заячья Губа презрительно фыркал, Хоу-Хоу тихонько хихикал, но Эдвин толкнул их локтем, чтобы они замолчали.

— Клещ на собаке сосет из нее кровь, а микробы, будучи очень маленькими, сами попадают в кровь и там плодятся. В теле одного человека насчитывали до миллиарда микробов… Дайте, пожалуйста, крабий панцирь… Так вот, столько, сколько означает этот панцирь. Мы называли микробы микроорганизмами. Когда миллионы или миллиарды микроорганизмов попадали в тело человека, в его кровь, он начинал хворать. Микробы вызывали болезни. Было великое множество видов этих микробов — столько видов, сколько песчинок на берегу. Мы знали только некоторые из них. Мир микроорганизмов оставался невидимым для нас, мы редко могли туда проникнуть, и мы мало что знали о нем. И все-таки кое-какие микробы нам были известны. Вот, например, bacillus anthracis, micrococcus, потом Bacterium termo и Bacterium lactis — те самые, от которых даже теперь свертывается козье молоко, Заячья Губа. Знали мы и разные виды Schizomycetes и много других…

Здесь старик ударился в рассуждения о свойствах различных микроорганизмов, причем настолько длинные и заумные, что мальчишки перемигнулись и уставились на пустынный океан, забыв о словоохотливом старике.

— А как же Алая Смерть, дед? — напомнил наконец Эдвин.

Старик вздрогнул и с усилием сошел с кафедры, откуда он читал каким-то слушателям лекцию о новейших, шестидесятилетней давности, теориях болезнетворных микробов.

— Да, да, Эдвин, я отвлекся. Что делать, иногда воспоминания о прошлом так сильны, что забываешь, что теперь ты жалкий старик, облаченный в козью шкуру, который бродит вместе со своими внуками-дикарями, пасущими коз в первобытной пустыне. «Миры проходят словно дым» — так и наша славная гигантская цивилизация прошла, сгинула как дым. Теперь меня зовут дедом, я дряхлый старик и принадлежу к племени Санта-Росов, потому что женился на женщине из этого племени. Мои сыновья и дочери породнились с другими племенами — с племенем Шофера, Сакраменто, Палоальтов. Вот Заячья Губа из племени Шофера. Ты, Эдвин, из Сакраментов, а ты, Хоу-Хоу, принадлежишь к палоальтам. Название этого племени идет от названия города, который находился поблизости от другого большого очага культуры, Стэнфордского университета. Ну вот, теперь я снова вспомнил, кто я и что я. Все встало на свои места. Итак, я рассказывал об Алой Смерти. На чем я остановился?

— Ты говорил о микробах, которых не видно, но будто от них у человека начинается хворь.

— Да, правильно. Так вот, человек сначала не замечал, что к нему в тело попадают микробы: их было мало. Но потом каждый микроб делился пополам, и становилось два микроба, те в свою очередь делились пополам и так далее, причем делились они с такой быстротой, что очень скоро в теле человека были уже миллионы микробов. Тогда человек хворал. У него начиналась болезнь, которая называлась по тому виду микробов, который попал ему в кровь. Это могла быть корь, инфлюэнца, желтая лихорадка или тысячи иных болезней.

И вот странное дело: беспрестанно появлялись все новые и новые микробы. Давным-давно, когда на земле жило мало людей, и болезней было наперечет. Но люди размножались, селились вместе в больших современных городах, и тогда начинали появляться новые болезни — новые микробы попадали в тело человека. Миллионы людей умирали от болезней. Чем плотнее селились люди, тем страшнее становились болезни. Когда-то, еще в средние века — это задолго до моего рождения, — по Европе пронеслась Черная Чума. И потом она не раз опустошала ее. Затем туберкулез — им неизбежно заболевали там, где люди жили скученно. Лет за сто до моего рождения разразилась бубонная чума. А в Африке распространялась сонная болезнь. Бактериологи боролись с болезнями и побеждали их так же, как вы, например, убиваете волков, защищая от них коз, или давите садящихся на вас москитов. Бактериологи…

— Дед, а что это… Как ты их называешь?

— Как бы тебе объяснить? Ну, вот ты, Эдвин, пастух, твоя обязанность — стеречь коз. И ты много знаешь о козах. А бактериолог следит за микробами, это его работа, и он много знает о них. Так вот, бактериологи боролись с микробами и иногда уничтожали их. Одной из самых страшных болезней была проказа. За столетие до меня бактериологи обнаружили микроба проказы. Они досконально изучили его, сделали много снимков — я сам их видел. Но они так и не нашли способа уничтожить микроба проказы. Но вот в 1984 году случилась Повальная Чума. Она вспыхнула в стране, которая называлась Бразилия, и унесла миллионы людей. Бактериологи обнаружили микроба этой болезни и нашли способ уничтожить его, так что Повальная Чума не распространилась дальше. Они сделали так называемую сыворотку,

которую вводили в тело человека. Сыворотка убивала микроба, не принося вреда человеку. В 1910 году были пеллагра и анкилостома. Бактериологи быстро разделались с ними. Но в 1947 году появилась новая, совсем неизвестная до того болезнь. Ею заражались грудные дети, не старше десяти месяцев, — у них отнимались руки и ноги, они не могли ни двигаться, ни есть. Бактериологам потребовалось одиннадцать лет, чтобы найти способ уничтожить микроба этой болезни и спасти детей.

Несмотря на все эти болезни и на новые, которые вспыхивали потом, в мире становилось все больше и больше людей, потому что было просто добывать пищу. Чем легче было добывать пищу, тем больше становилось людей. Чем больше становилось людей, тем теснее они селились. И чем теснее они селились, тем чаще появлялись новые болезни. Многие предупреждали об опасности. Еще в 1929 году Солдервецкий предупреждал бактериологов, что мир не гарантирован от появления какой-нибудь неведомой болезни, которая может оказаться в тысячу раз сильнее всех известных до сих пор и которая может привести к гибели сотни миллионов людей, а то и весь миллиард. Все-таки мир микроорганизмов оставался тайной. Ученые знали, что такой мир существует, что оттуда время от времени вырываются наружу полчища микробов и косят людей. Это почти единственное, что они знали. Они догадывались, что в этом невидимом мире столько различных видов микробов, сколько песчинок на берегу моря. Иные полагали, что в ней могут нарождаться новые виды микробов. Не исключена возможность, что именно там начиналась жизнь — «безграничная плодовитость», как называл это Солдервецкий, пользуясь выражением других людей, которые писали до него…

Тут Заячья Губа поднялся на ноги, и на лице у него было написано крайнее презрение.

— Дед, — заявил он, — мне надоела твоя болтовня. Почему ты не рассказываешь о Красной Смерти? Если не хочешь, так и скажи, тогда мы пойдем обратно в становище.

Старик молча посмотрел на него и тихонько заплакал. Слезы беспомощности и обиды катились у него по щекам, словно все горести долгих восьмидесяти семи лет отразились на его опечаленном лице.

— Садись-ка ты! — вмешался Эдвин. — Дед ведь рассказывает. Он как раз подходит к Алой Смерти, правда ведь, дед? Сейчас он обо всем расскажет. Садись, Заячья Губа! Продолжай, дед!

III

Старик утер слезы грязными кулаками и снова заговорил дрожащим, тоненьким голоском, который креп по мере того, как рассказчик входил во вкус.

— Чума вспыхнула летом 2013 года. Мне тогда было двадцать семь лет, и я отлично все помню. Сообщения по беспроволочному телеграфу…

Заячья Губа сплюнул от злости, и старик поспешил объяснить:

— В те времена мы умели разговаривать по воздуху на тысячи миль. И вот пришло известие, что в Нью-Йорке разразилась неизвестная болезнь. В этом величественнейшем городе Америки жили тогда семнадцать миллионов. Поначалу никто не придал значения этому известию. Это была мелочь. Умерло несколько человек. Обращало внимание, однако, то, что они умерли слишком быстро и что первым признаком болезни было покраснение лица и всего тела. Через двадцать четыре часа пришло сообщение, что в Чикаго зарегистрирован такой же

случай. В тот же день стало известно, что в Лондоне, самом крупном, уступающем лишь Чикаго городе, вот уже две недели тайно борются с чумой. Все сообщения подвергались цензуре, то есть запретили говорить остальному миру, что в Лондоне началась чума.

Дело, по-видимому, принимало серьезный оборот, но мы в Калифорнии, как, впрочем, и всюду, нисколько пока не тревожились. Все были убеждены, что бактериологи найдут средство против этой болезни так же, как в прошлом они находили средства против других болезней. Но беда в том, что микробы, попавшие в человеческий организм, убивали человека с поразительной быстротой. Не было ни одного случая выздоровления. Это как азиатская холера: сегодня вы ужинаете с совершенно здоровым человеком, а завтра утром, если подниметесь пораньше, видите, как его везут на кладбище мимо вашего дома. Только эта неизвестная чума поражала еще быстрее, гораздо быстрее. Через час после появления первых признаков заболевания человек умирал. Иные протянули несколько часов, но многие умирали и через десять — пятнадцать минут.

Сначала учащалось сердцебиение, поднимался жар, затем на лице и по всему телу мгновенно выступала алая сыпь. Мало кто замечал жар и сердцебиение: настораживала лишь сыпь. В это время обычно начинались судороги, но они длились недолго и были не очень сильными. После того как человек перенес судороги, он больше не мучился и единственно — чувствовал потом, как быстро, начиная с ног, немеет тело. Сначала ступни, затем колени, затем поясница, а когда онемение доходило до сердца, человек умирал. Он не бредил, не спал. Он до конца, пока не останавливалось сердце, находился в полном сознании. И еще странная вещь — до чего быстро разлагался труп! Как только человек умирал, тело его начинало распадаться на куски и словно таять прямо на глазах. Вот одна из причин, почему чума распространялась так быстро: миллиарды микробов, находившихся в трупе, немедленно попадали в воздух.

Поэтому-то бактериологи и имели так мало шансов на успех в борьбе с этой болезнью. Они умирали в своих лабораториях во время исследований микробов Алой Смерти. Они показали себя героями. Место одних, умерших, тут же заступали другие. Впервые изолировать бациллы чумы удалось в Лондоне. Телеграф повсюду разнес эту весть. Этого ученого звали Траск, но через сутки с небольшим он умер. Ученые в своих лабораториях бились над тем, чтобы найти средство, поражающее чумные бациллы. Все известные лекарства не помогали. Найти средство, сыворотку, которая убивала бы микробов, но не причиняла вреда человеку, — вот в чем была загвоздка. Пытались даже применить других микробов, вводить в тело больного человека таких микробов, которые были врагами чумных микробов…

— Но ведь их же не видно, эти штуки, микробы! — возразил Заячья Губа.

— А ты мелешь всякий вздор, будто они есть на самом деле? Того, что не видно, нет вообще. Драться против того, чего нет, тем, чего нет, — скажешь же тоже! Дураки они все были в те времена! Потому и загнулись. Так я и поверил в эту чепуху!

Дед снова заплакал, но Эдвин тут же взял его под защиту.

— Послушай, Заячья Губа, ты ведь и сам веришь в то, чего не видишь.

Заячья Губа замотал головой.

— Ты вот веришь, что мертвецы встают из могил. А разве ты их видел?

— Да, видел, я же говорил тебе. Прошлой зимой, когда мы с отцом охотились на волков.

— Ну ладно! Но ты всегда сплевываешь через левое плечо, когда переходишь ручей, — наседал

Эдвин.

— А это от сглазу, — отбивался Заячья Губа.

— Значит, ты веришь в сглаз?

— Ну а как же!

— А ведь ты ни разу его не видел! — торжествовал Эдвин. — Ты хуже деда с его микробами! Сам веришь в то, чего не видел. Давай рассказывай, дед, дальше!

Заячья Губа, подавленный поражением в этом метафизическом споре, прикусил язык, и старик продолжал повествование.

Не станем утяжелять рассказ излишними описаниями того, как то и дело пререкались внуки, перебивая старика, как, чуть понизив голос, обсуждали услышанное и строили всевозможные догадки, пытаясь постигнуть тот исчезнувший и неведомый мир.

— …Наконец Алая Смерть вспыхнула и в Сан-Франциско. Первый человек умер утром в понедельник. К четвергу в Окленде и Сан-Франциско люди гибли, как мухи. Они умирали всюду: в постели, на работе, на улицах. Во вторник я сам увидел, как умирает человек от чумы. Это была мисс Колбрен, моя студентка. Она сидела прямо передо мной в аудитории, и вот, читая лекцию, я увидел, как лицо у нее внезапно стало алым. Я замолчал и только смотрел на нее: все мы были уже напуганы слухами о чуме. Девушки закричали и кинулись вон из комнаты. За ними последовали молодые люди — все, кроме двоих. У мисс Колбрен начались судороги, правда, несильные, и длились они всего минуту. Один из юношей принес ей воды. Она выпила совсем немного и вдруг воскликнула:

— Я не чувствую своих ног! — Потом, через минуту: — Ноги совсем отнялись. Как будто их и нет. И колени холодные. Я едва чувствую их.

Она лежала на полу, мы подложили ей под голову стопку тетрадей. Ничем другим мы не могли ей помочь. Тело ее холодело, онемение захватило поясницу, а когда оно достигло сердца, девушка умерла. Прошло каких-нибудь пятнадцать минут — я заметил по часам, — и она скончалась прямо в аудитории. Красивая, здоровая, полная сил женщина! С появления первых признаков болезни до момента смерти прошло всего четверть часа — вот как быстро поражала Алая Чума.

За эти несколько минут, пока я оставался в аудитории с умирающей, паника охватила весь университет; студенты толпами покидали аудитории и лаборатории. Когда я вышел, чтобы доложить о случившемся декану факультета, то обнаружил, что университетский городок пуст. Лишь несколько человек, почему-то задержавшихся здесь, спешили к своим домам. Двое из них бежали.

Декан Хоуг был один в своем кабинете, он словно сразу постарел, лицо его покрылось морщинами, которых я не замечал у него прежде. Увидев меня, он с трудом поднялся на ноги и заковылял во внутренний кабинет; захлопнув за собой дверь, он быстро запер ее на ключ. Он знал, что я мог заразиться, и испугался. Он крикнул мне через дверь, чтобы я уходил. Никогда не забуду, что я чувствовал, когда шагал по пустынным коридорам, через вымерший городок. Мне не было страшно. Да, я мог заразиться и считал себя уже мертвецом. Но угнетала меня не мысль о смерти, а чудовищность всего происходящего. Жизнь остановилась. Казалось, настал конец мира, моего мира. Ведь с самого рождения я дышал воздухом университета. Мой жизненный путь был предрешен. Мой отец был профессор этого университета и дед тоже. На

протяжении полутораста лет университет работал, как хорошо смазанная машина. И вдруг в один миг эта машина остановилась. У меня было такое ощущение, будто на священном алтаре угасло священное пламя. Я был потрясен до глубины души.

Когда я вошел к себе в дом, экономка вскрикнула и убежала. Я позвонил, но никто не отозвался, и я понял, что горничная тоже скрылась. Я обошел дом. В кухне я нашел кухарку, которая собиралась уходить. Увидев меня, она завизжала, выронила чемодан со своими вещами, выскочила за дверь и, не переставая визжать, побежала к воротам. До сих пор стоит у меня в ушах этот пронзительный визг. Ведь при обыкновенных болезнях мы никогда не вели себя так. Мы спокойно посылали за доктором и сиделками, которые отлично знали свое дело. Но теперь все обстояло иначе. Человек заболевал внезапно и тут же умирал. Чума не щадила никого. Алая сыпь на лице была словно печать смерти. Мне неизвестно ни одного случая выздоровления.

Я остался один в своем огромном доме. Я уже сказал вам, что мы тогда умели разговаривать друг с другом по проводам или через воздух. Раздался телефонный звонок — это был мой брат. Он сказал, что не вернется домой, так как боится заразиться; он сообщил также, что две наших сестры будут жить пока в доме профессора Бэйкона. Брат посоветовал мне никуда не выходить до тех пор, пока не выяснится, что я не заболел.

Я согласился на все это, остался дома и в первый раз в жизни попытался приготовить себе что-нибудь поесть. Признаков чумы не появилось. Я мог разговаривать по телефону с кем угодно и узнавать новости. Кроме того, мне приносили газеты — я распорядился оставлять их у входной двери. Таким образом, я знал, что происходит в мире.

В Нью-Йорке и Чикаго царил полнейший хаос. То же самое творилось во всех крупных городах. Уже погибло около трети нью-йоркских полицейских. Умерли начальник полиции и мэр города. Никто не заботился о соблюдении закона и поддержании порядка. Трупы людей валялись на улицах, не погребенные. Перестали ходить поезда и пароходы, доставлявшие в крупные города продукты, и толпы голодных бедняков опустошали магазины и склады. Повсюду пьянствовали, грабили и убивали. Население бежало из города: сначала состоятельные люди на собственных автомобилях и дирижаблях, за ними огромные массы простого люда, пешком, разнося чуму, голодая и грабя на пути фермы, селения, города.

Мы узнавали новости от человека, который засел со своим передающим аппаратом на самом верхнем этаже высокого здания. Оставшиеся в городе — он полагал, что таких несколько сотен тысяч, — буквально посходили с ума от страха и спиртных напитков. Повсюду полыхали пожары. Он геройски остался на своем посту до конца — наверное, какой-нибудь незаметный репортер.

Он сообщил, что в течение последних двадцати четырех часов в город не прибыло ни одного трансатлантического воздушного корабля и не поступало никаких сообщении из Англии. Ему удалось, правда, связаться с Берлином — это был город в Германии. Оттуда передали, что Гофмейер, бактериолог, последователь Мечникова, открыл противочумную сыворотку. Это было последнее сообщение из Европы: с тех пор мы, американцы, не получали оттуда вестей. Даже если Гофмейеру и посчастливилось открыть сыворотку, все равно было, очевидно, поздно, иначе сюда бы непременно прибыли европейские исследователи. Остается заключить, что в Европе произошло то же самое и лишь несколько десятков человек избежали Алой Смерти.

С Нью-Йорком связь поддерживалась еще в течение суток. Потом она оборвалась. Тот человек, который передавал сообщения из высокого здания, верно, погиб от чумы или пожаров,

бушевавших, по его описаниям, вокруг. Что случилось в Нью-Йорке, повторилось в других городах. Так было и в Сан-Франциско, и в Окленде, и в Беркли. К четвергу погибло уже столько людей, что некому было убирать трупы, и они валялись повсюду. В ночь на пятницу жители начали в панике покидать город. Вообразите огромные, миллионные толпы народа — точно косяки лосося на Сакраменто, которые вам доводилось видеть во время нереста, — хлынувшие за город в тщетном стремлении убежать от вездесущей смерти. Ведь они несли микробов в своей крови. Даже воздушные корабли, на которых состоятельные люди пытались спастись, укрывшись в неприступных горах и диких пустынях, являлись разносчиками чумы.

Сотни воздушных кораблей взяли курс на Гавайи, неся туда чуму, однако болезнь уже свирепствовала на островах. Мы успели узнать об этом до того, как в Сан-Франциско воцарился хаос и стало некому принимать и передавать сообщения. Потерять связь с внешним миром — это немыслимо, невероятно! Мир словно перестал существовать, исчез без следа. Шестьдесят лет прошло с тех пор. Я знаю, что должны быть на свете Нью-Йорк, Европа, Азия, Африка, но за все это время никто ни разу не слышал о них. С приходом Алой Смерти наш мир безвозвратно распался. Тысячи лет культуры исчезли в мгновение ока, прошли как дым.

Я уже говорил вам, что состоятельные люди пытались спастись на воздушных кораблях, но в конце концов все они, куда бы ни скрывались, погибли, потому что микробы были даже на их кораблях. Я знаю лишь одного такого человека, который выжил, — это Мангерсон. Он потом стал санта-роса и женился на моей старшей дочери. Мангерсон пришел в племя через восемь лет после чумы. Был он тогда девятнадцатилетним юношей, и ему пришлось ждать двенадцать лет, прежде чем он смог взять себе жену. Дело в том, что все женщины в племени были замужем, а девочки постарше обручены. Так что он ждал, пока моей Мери не исполнилось шестнадцать. В прошлом году его сына, Кривую Ногу, задрал кугуар.

Когда вспыхнула чума, Мангерсону было всего одиннадцать лет. Отец его, один из Промышленных Магнатов, считался очень богатым и могущественным человеком. Он увез свою семью на «Кондоре», собственном воздушном корабле, пытаясь спастись в каком-нибудь глухом уголке Британской Колумбии, — это далеко на север отсюда. Но с их кораблем что-то случилось, и они разбились у вершины Шаста. Вы слышали об этой горе — она тоже к северу. Среди них началась чума, и выжил только этот одиннадцатилетний мальчик. Восемь лет он бродил один по пустыням и дебрям в надежде встретить людей. Наконец, отправившись к югу, он наткнулся на нас, санта-росов.

Я, однако, забегаю вперед. Так вот, когда из городов, расположенных вокруг залива Сан-Франциско, началось поголовное бегство, я позвонил брату: телефоны пока работали. Я сказал, что бежать куда-то — чистейшее безумие, что я, к счастью, кажется, не заразился и что нам вместе с близкими родственниками следует укрыться в каком-нибудь безопасном месте. Мы выбрали здание химического факультета в университетском городке, решили запастись продуктами и с оружием в руках отбиваться в нашем убежище от непрошеных гостей.

После того как мы обо всем договорились, брат упросил меня не выходить из дому, по крайней мере, еще день, чтобы окончательно убедиться, что я не заразился. Я охотно согласился, и он обещал прийти ко мне на другой день. Мы подробно обсуждали, как лучше запастись продуктами и защищать здание, но как раз посередине нашего разговора телефон перестал работать. В тот вечер погасло электричество, и я сидел один в кромешной тьме. Газеты больше не выходили, и я не знал, что творится на улицах. Откуда-то доносились крики и револьверные выстрелы, а в окно я видел отблески огромного пожара, полыхавшего в той стороне, где Окленд. Ужасная была ночь! Я ни на минуту не сомкнул глаз. На тротуаре, как раз перед моим домом, застрелили человека — не знаю, что, собственно, там произошло. Я услышал только частые выстрелы из револьвера, а через несколько минут стоны и мольбы о помощи — раненый

подполз к дверям моего дома. Вооружившись двумя револьверами, я вышел к нему. При свете спички я увидел, что он умирает от огнестрельных ран и что он заражен чумой. Я заперся в доме и еще в течение получаса слышал стоны и рыдания.

Утром пришел мой брат. К тому времени я уже собрал в чемодан самые необходимые вещи. Но, посмотрев на него, я понял, что ему не суждено сопровождать меня в здание химического факультета. На лице у него появились признаки чумы. Он протянул было мне руку, но я отпрянул в смятении.

— Посмотри на себя в зеркало! — приказал я.

Он послушался и, увидев у себя на лице алую сыпь, которая темнела буквально с каждой секундой, бессильно упал в кресло.

— Боже мой! — прошептал он. — Я, кажется, заразился. Не подходи ко мне! Это конец.

Потом у него начались судороги. Он мучился два часа, причем до последней минуты находился в полном сознании и только жаловался на холод и на то, что отнялись ступни ног, затем икры, бедра, пока онемение не подошло к сердцу и он не умер.

Так поражала Алая Смерть. Я схватил чемодан и кинулся прочь. Улицы являли собой страшное зрелище. Я то и дело спотыкался о мертвых и умирающих. Люди как подкошенные падали на глазах. В Беркли пылали пожары, а Сан-Франциско и Окленд превратились в один гигантский костер. Небо застилал черный дым, так что в полдень было точно в серые сумерки, и лишь временами, когда налетал ветер, тускло просвечивал из мглы багровый солнечный диск. Настал, казалось, конец света.

Всюду стояли автомашины: владельцы бросили их из-за того, что вышло горючее, а в гаражах ничего нельзя было найти. Помню один такой автомобиль

— на сиденьях лежали мужчина и женщина, оба мертвые, а неподалеку, на тротуаре, — еще две женщины и ребенок. Куда ни повернись — страшно смотреть! Крадучись, словно тени, куда-то спешили люди: бледные, как полотно, женщины, прижимающие младенцев к груди, отцы, ведущие за руки ребятишек… Шли поодиночке, парами, целыми семьями, стараясь поскорей выбраться из зачумленного города. Некоторые тащили за собой продукты, другие — одеяла и ценные вещи, но многие уходили совсем налегке.

Я проходил мимо бакалейной лавки — это такое место, где продавали пищу. Владелец лавки — я его хорошо знал: спокойный и уравновешенный человек, но крайне недалекий и упрямый — защищал свое имущество от нескольких мужчин, которые ломились к нему. Двери были уже сорваны с петель, окна выбиты, но лавочник, укрывшись за прилавком, упорно палил из револьвера. У входа громоздились трупы тех, как я предполагаю, кого он убил раньше. Пока я наблюдал с приличного расстояния за схваткой, один из грабителей выбил раму в соседней лавке, где торговали башмаками, и поджег дом. Я не поспешил на помощь к бакалейщику. Пора благородных поступков миновала. Цивилизация рушилась, каждый спасал собственную шкуру.

IV

Я быстро пошел прочь, и на первом перекрестке глазам моим открылась очередная трагедия. Двое каких-то гнусных субъектов грабили мужчину и женщину с двумя детьми. Я узнал этого человека, хотя мы не были знакомы: это был поэт, чьими стихами я давно восхищался. И все

же я не бросился к нему на помощь: едва я приблизился, как раздался выстрел, и он тяжело опустился на землю. Женщина закричала, но один из негодяев тут же свалил ее ударом кулака. Я угрожающе крикнул что-то, но они стали стрелять, и мне пришлось быстро свернуть за угол. Здесь дорогу мне преградил пожар. Улица была окутана дымом: по обе ее стороны горели дома. Откуда-то сквозь чад доносился пронзительный крик женщины, взывающей о помощи. Я пошел дальше. В такие страшные минуты сердце у человека каменное, и, ко всему, слишком многие кричали о помощи.

Возвратившись на перекресток, я увидел, что грабители скрылись. Поэт и его жена лежали мертвые на тротуаре. Я похолодел от ужаса. Дети исчезли неизвестно куда. Только теперь я понял, почему беглецы, которых я встречал, были так напуганы и поминутно оглядывались. Дело в том, что в самой гуще нашей цивилизации мы вырастили особую породу людей, породу дикарей и варваров, которые обитали в трущобах и рабочих гетто, и вот сейчас, во время всеобщего бедствия, они вырвались на волю и кинулись на нас, словно дикие звери. Именно звери, иначе их не назовешь! Они уничтожали и самих себя: напивались пьяными, затевали драки и, охваченные безумием, жестоко расправлялись друг с другом. Мне довелось наблюдать группу более приличных рабочих, которые силой пробивали себе дорогу; они шли в строгом порядке, поместив женщин и детей посередине и неся на носилках больных и престарелых. Лошади тащили автомобили с продовольствием. Я невольно загляделся на этих людей, двигавшихся по дымным улицам, хотя они чуть не подстрелили меня, когда я оказался у них на пути. Проходя мимо, один из их руководителей извинился передо мной. Он объяснил, что, единственно, организовав отряд, можно защищаться от всяких бродяг и что, завидев грабителей и мародеров, они убивают их на месте.

Вот тогда-то в первый раз я и оказался свидетелем зрелища, которое стало обычным впоследствии. У одного из шагавших вдруг обнаружились явные признаки чумы. Те, что шли рядом, немедленно расступились, и он, не говоря ни слова, вышел из рядов. Женщина, вероятно, его жена, хотела было последовать за ним. За руку она вела мальчугана. Но муж строго приказал ей не делать этого, а другие удержали ее на месте. Это произошло на моих глазах. Потом я видел, как этот человек с алой сыпью на лице вошел в подъезд дома на противоположной стороне улицы. Раздался выстрел, и он упал.

Дважды, сделав крюк из-за пожаров, я наконец добрался до университета. У входа в городок я встретил группу преподавателей, которые направлялись к зданию химического факультета. Все явились со своими семьями, прихватив даже слуг и нянь. Со мной поздоровался какой-то человек, и я с трудом узнал профессора Бадминтона. Он, очевидно, пробирался сквозь огонь, и ему спалило бороду. Голова у него была перевязана окровавленными бинтами, грязная одежда разодрана в клочья. Он рассказал, что на него напали грабители и жестоко избили и что брат его погиб вчера ночью, защищая их дом.

На полпути к нашему убежищу профессор Бадминтон вдруг показал на лицо миссис Суинтон. Чумная сыпь! Остальные женщины закричали и бросились бежать. Двое ее детей с няней побежали за ним. Но доктор Суинтон остановился подле жены.

— Не мешкайте, Смит, идите, — сказал он мне. — И присмотрите, пожалуйста, за детьми. Я останусь. Она умрет, я знаю, но я не могу бросить ее. Если не заражусь, то потом приду к вам. Тогда, пожалуйста, впустите меня.

Он наклонился над женой, пытаясь облегчить ее последние минуты, а я быстро зашагал, чтобы догнать остальных. Мы оказались последними, кому позволили войти в здание. Потом мы выставили охрану с автоматическим оружием, чтобы не пускать никого.

Первоначально было намечено, что здесь укроются человек шестьдесят, но каждый, естественно, привел родственников и друзей с семьями, так что набралось человек четыреста с лишним. Здание химического факультета было, правда, очень просторно и стояло отдельно, потому мы могли не опасаться пожаров, бушевавших в городе.

Нам удалось сделать значительные запасы продуктов, и продовольственная комиссия установила дневные рационы и очередность их получения. Потом мы избрали еще несколько комиссий, и у нас получилась довольно работоспособная организация. Меня избрали членом комиссии по обороне, хотя в первый день к зданию не приблизился ни один грабитель. Однако мы видели их в отдалении и по кострам поняли, что несколько шаек разбили на другом краю городка свои лагеря. Они, не переставая, пили, кричали, горланили непристойные песни. Вокруг них рушился мир, стеной стоял черный дым, а эти подонки предавались животному разгулу, сквернословили, напивались, дрались и умирали. А впрочем, какая разница! Все гибли так или иначе: добродетельные и безнравственные, сильные и слабые, те, кто жаждал жизни, и те, кто устал от нее, — словом, все. Люди умирали. Умирал мир.

Прошли сутки, ни у кого из нас не обнаруживались симптомы заболевания. Мы поздравили друг друга и принялись копать колодец. Вы, конечно, видели такие большие железные трубы, по которым в мое время в жилища поступала вода. Так вот, мы опасались, что от пожаров трубы полопаются и из водохранилищ уйдет вода. Мы пробили цементное покрытие на главном дворе перед зданием факультета и стали рыть землю. Среди нас было много молодежи, студентов, и мы трудились день и ночь. Наши опасения подтвердились. Часа за три до того, как мы достигли водоносного слоя, водопровод перестал работать.

Прошли вторые сутки, никто не заболел. Мы были, казалось, спасены. Тогда мы еще не знали того, что выяснилось позднее: инкубационный период Алой Чумы длится несколько дней. Поскольку после появления первых симптомов человек умирал очень быстро, то мы предположили, что инкубационный период должен быть коротким. Оттого-то по прошествии двух суток мы и радовались, что никто из нас не заразился.

Но третий день принес разочарование. Никогда не забуду ночь накануне. С восьми вечера до двенадцати ночи я был начальником караула и с крыши здания видел, как гибли великие плоды человеческих трудов. Кругом полыхали сильные пожары, небо озарялось багровыми отсветами, так что можно было разобрать мелкий шрифт. Казалось, весь мир объят пламенем. Сан-Франциско изрыгал огонь и дым, словно действующий вулкан. Горели Окленд, Сан-Леандро, Хейуард, а на севере, вплоть до мыса Ричмонд, повсюду занимались огромные пожары. Это было грандиозно и страшно. Да, мальчики, цивилизацию сметали языки пламени и дыхание смерти. В десять часов вечера один за другим, через короткие промежутки времени, взорвались пороховые склады у мыса Пиноль. Толчки были такой силы, что наше здание содрогалось, как во время землетрясения, и стекла, конечно, все повыбивало. Я спустился с крыши и длинными коридорами прошел по факультету, заходя во все комнаты, успокаивая испуганных женщин и рассказывая, что случилось.

Час спустя, когда я стоял у окна на нижнем этаже, в лагере грабителей началась адская суматоха. Оттуда неслись крики, плач, выстрелы. Мы предполагали, что драка возникла из-за того, что здоровые решили изгнать из лагеря больных. Как бы там ни было, несколько заболевших убежали оттуда и столпились у входа в наше здание. Мы приказали им не приближаться, но они осыпали нас проклятиями и дали залп из револьверов. Находившийся у окна профессор Мерривезер был убит на месте: пуля попала ему прямо в лоб. Мы тоже открыли огонь, и негодяи бросились врассыпную, все, кроме троих. Среди них одна женщина. Жить им осталось немного, и от них можно было ожидать самого отчаянного поступка. Они бранились, палили из револьвера. В багровом свете пожарищ, с пылающими от болезни

лицами, они казались какими-то отвратительными фантастическими существами. Одного я пристрелил собственноручно. Другой мужчина и женщина, все еще проклиная нас, свалились под окнами здания, и нам пришлось стать свидетелями их смерти.

Положение становилось критическим. Когда взорвались пороховые склады, окна факультета были выбиты, и мы могли заразиться, так как рядом валялись разлагающиеся трупы. Члены санитарной комиссии решили принять какие-то меры. Два человека должны были оттащить трупы подальше, а это означало идти на верную смерть, потому что после их не пустили бы обратно в наше убежище. Вызвались один профессор-холостяк и студент. Эти смельчаки попрощались с нами и вышли из здания. Они пожертвовали собой ради других, чтобы спасти четыреста человек. Оттащив трупы, они печально постояли, помахали нам на прощание и медленно побрели к горящему городу.

Но все оказалось напрасно. На другое утро заболела молоденькая няня, служившая в семье профессора Стаута, — первый случай чумы среди нас. Мы не имели права сентиментальничать. Чтобы она не заразила других, мы выгнали ее из здания и приказали уходить. Девушка шла по городку, рыдая и ломая в отчаянии руки. Конечно, мы поступили жестоко, но что было делать? Нельзя подвергать опасности четыреста человек из-за одного.

В одной из лабораторий, где поселились три семьи, мы в тот же день обнаружили четыре трупа и семь человек в разных стадиях заболевания.

Тут и пошло самое страшное. Оставив мертвых на месте, мы изолировали больных в особых комнатах. Среди остальных тоже начались случаи заболевания. Как только у кого-нибудь появлялись симптомы чумы, его отправляли в те комнаты. Чтобы не прикасаться к ним, мы приказывали им перебираться самим. У нас разрывалось сердце от жалости. А чума продолжала свирепствовать, и помещения заполнялись мертвыми и умирающими. Здоровые переходили с этажа на этаж, отступая перед этой смертоносной волной, которая постепенно, комнату за комнатой захлестывала здание, поднимаясь с этажа на этаж.

Факультет превратился в мертвецкую, и ночью те, которых пока не тронула болезнь, покинули здание, взяв с собой лишь оружие, патроны и порядочный запас консервированных продуктов. На противоположном от грабителей краю университетского городка мы разбили лагерь, выставили сторожевые посты и отправили в город разведчиков, чтобы раздобыть лошадей, автомобили, фургоны или подводы, — словом, что угодно, только бы погрузить наши припасы и начать пробиваться из города, как тот отряд рабочих, который я видел.

Я был назначен одним из разведчиков. Доктор Хойл сказал мне, что его автомобиль остался в гараже при его доме. Мы отправились парами, меня сопровождал молоденький студент Домби. Чтобы добраться до дома доктора Хойла, нам нужно было пройти полмили по жилым кварталам города. Дома здесь стояли особняком на зеленых лужайках, скрытые за густыми деревьями. Огонь прошел тут прихотливо, спалив дотла целые кварталы и не тронув другие, порой обходя даже отдельные строения. Повсюду бесчинствовали грабители. Мы шагали, держа наготове автоматические пистолеты, чтобы заранее отбить охоту нападать на нас. И все-таки у дома доктора Хойла разыгралась трагедия.

Дом этот оказался цел, но едва мы приблизились к нему, как из окон вырвались языки пламени. Негодяй, который поджег его, пошатываясь, спустился с парадной лестницы и побрел прочь. Из карманов у него торчали бутылки виски — он был вдребезги пьян. Первым моим побуждением было пристрелить его на месте, и я до сих пор жалею, что не сделал этого. Он шел, покачиваясь из стороны в сторону, бормотал под нос что-то непонятное, глаза у него были налиты кровью, а на щеке под бакенбардами виднелась свежая рваная рана. Короче

говоря, я никогда не думал, что человек может пасть так низко, как этот грязный тип. Однако я сдержался, и он прислонился к дереву, чтобы дать нам пройти. Но едва мы поравнялись с ним, как он неожиданно выхватил револьвер и выстрелил Домби в голову. Чудовищный по своей бессмысленности поступок! В ту же секунду я спустил курок. Но было уже поздно. Домби скончался сразу же, даже не вскрикнув. Думаю, что он не успел понять, что с ним произошло.

Оставив обоих убитых, я поспешил мимо горящего дома в гараж, где стоял автомобиль доктора Хойла. Бак был залит доверху, машина оказалась на ходу. Я проехал к университету напрямик через разрушенный город. Остальные разведчики вернулись раньше меня, но они ничего не разыскали. Правда, профессор Фэрмид привел откуда-то шотландского пони, но бедное животное оставили привязанным в стойле без корма, и оно за несколько дней так ослабело, что не могло нести тяжести. Кое-кто из нас хотел отпустить пони, но я настоял на том, чтобы взять его с собой: мы могли забить его, если выйдут продукты. Когда мы отправились в путь, нас было сорок семь человек, причем большинство женщины и дети. В автомобиль усадили декана факультета, старика, вконец подавленного событиями прошедшей недели, нескольких детишек и престарелую мать профессора Фэрмида. За руль сел молодой преподаватель английской филологии Уотроп, которого тяжело ранили в ногу. Остальные шли пешком. Профессор Фэрмид вел пони.

Стоял яркий летний день, но дым от пожаров совершенно застлал небо, и лишь временами тускло просвечивал зловеще неподвижный багровый диск. Мы уже попривыкли к багровому солнцу. Но к дыму привыкнуть не могли. Он щипал ноздри, веки у всех воспалились. Мы взяли курс на юго-восток, двигаясь по бесконечным окраинным кварталам вдоль низких холмов, подступавших к равнине, где раскинулся город. Только этой дорогой могли мы выйти в сельскую местность.

Подвигались мы вперед медленно. Женщины и дети не могли идти быстрее. Они не умели ходить так, как люди ходят теперь. Да, в сущности, мы совсем не умели ходить. Я и сам научился только после чумы. Поэтому всем приходилось равняться на самого слабого, а разбиться на группы мы не решались из-за грабителей. Их, правда, становилось меньше, этих зверей в человеческом облике: многих скосила чума, — но все же повсюду шныряли еще порядочные банды. По пути нам попадалось немало прекрасных особняков, но гораздо чаще глазу открывались дымящиеся руины. Впрочем, бандиты, казалось, утолили свою безумную жажду уничтожения и реже поджигали теперь дома.

Мы осматривали частные гаражи в надежде найти исправный автомобиль или горючее. Поиски наши не увенчались успехом. Беженцы захватили все средства передвижения. Около одного такого гаража мы потеряли Калгэна, чудесного юношу: его подстрелили, когда он шел через лужайку. Это был единственный убитый среди нас, хотя в другой раз какой-то пьяный негодяй совершенно неожиданно открыл по нас огонь. К счастью, он палил, не целясь, и мы прикончили его, прежде чем он ранил кого-нибудь.

Когда мы проходили Фрутвейл, район богатых особняков, чума снова задела нас. Жертвой оказался профессор Фэрмид. Сделав нам знак, чтобы мы молчали и ничего не говорили его матери, он свернул в сторону, во двор красивого дома. Там он опустился на ступеньку передней веранды, а я, задержавшись, помахал ему на прощание рукой. В ту ночь мы разбили лагерь за Фрутвейлом, хотя все еще в пределах города. У нас умерло несколько человек, и мы дважды меняли место стоянки, чтобы не находиться подле мертвецов. К утру осталось тридцать человек. Никогда не забуду, с каким мужеством вел себя декан факультета. Во время утреннего перехода у его жены, которая шла пешком, появились признаки рокового заболевания. Когда она отступила на обочину, чтобы дать нам пройти, он хотел выйти из

машины и остаться с женой. Мы воспротивились, но он стал настаивать, и в конце концов мы уступили. Ибо кто из нас мог с уверенностью сказать, что ему самому удастся спастись!

На вторую ночь нашего похода мы сделали привал за Хейуардом, как раз там, где кончался город. Наутро в живых осталось только одиннадцать человек. В довершение бед ночью сбежал на автомобиле Уотроп, преподаватель с раненой ногой. Он взял свою сестру, мать и прихватил изрядную долю консервов. И вот в тот день, отдыхая у дороги, я в последний раз увидел воздушный корабль. Дым здесь был гораздо реже, чем в городе, и в ту минуту, когда я увидел корабль на высоте примерно двух тысяч футов, он потерял управление, и его начало сносить в сторону. Не знаю, что там случилось, но буквально на наших глазах нос дирижабля стал рывками опускаться книзу. Затем, по-видимому, лопнули переборки газовых камер, корпус занял вертикальное положение, и дирижабль камнем пошел вниз. С тех пор я не видел ни одного воздушного корабля. Сколько раз впоследствии я подолгу вглядывался в небо в тщетной надежде увидеть аэроплан или дирижабль — знак того, что в мире где-то сохранилась цивилизация! Но, увы, все напрасно. То, что случилось с нами, случилось, наверное, повсюду.

На другой день, к тому времени, когда мы достигли Найлса, нас осталось всего трое. За Найлсом посреди шоссе мы увидели Уотропа. Автомобиль был разбит, на полости, разостланной на земле, лежали трупы Уотропа, его сестры и матери.

Непривычный к ходьбе, я смертельно устал и уснул в ту ночь крепким сном. Утром я обнаружил, что остался один. Кэнфилд и Парсонс, мои последние спутники, умерли от чумы. Из четырехсот человек, которые искали убежища в здании химического факультета, и из сорока семи, которые вышли в поход, выжил я один, я и шотландский пони. Не знаю, почему так случилось, но факт остается фактом. Я не заразился чумой. Мой организм оказался невосприимчивым к ней. Просто-напросто мне повезло, мне, одному из миллиона, — ведь после чумы из миллиона, вернее, из нескольких миллионов, да, да, из нескольких миллионов человек, в живых остался только один!

V

В течение двух дней я укрывался в красивой рощице, которой не коснулось дыхание смерти. Несмотря на подавленное состояние, я был убежден, что в любой момент настанет мой черед, — я отдохнул за это время и набрался сил. Пони тоже окреп, так что на третий день я погрузил на него небольшой запас консервов, который у меня остался, и отправился в путь. Я не встретил ни одного живого человека, ни взрослого, ни ребенка, зато мертвые попадались на каждом шагу. Пищи, к счастью, было достаточно. Земля теперь не такая, как раньше. Тогда ее расчищали от деревьев и кустарника и возделывали. Вокруг меня росло, набиралось соков и пропадало то, чем можно было бы накормить миллионы ртов. На полях и в садах я, собирал овощи, фрукты, ягоды. На опустевших фермах ловил кур и доставал яйца. В кладовых нередко находил консервы.

Удивительные превращения происходили с домашними животными. Они постепенно дичали и начинали охотиться друг на друга. Хуже всего пришлось курам и уткам. Свиньи одичали первыми, а за ними кошки. Собаки тоже быстро приспособились к изменившимся условиям существования, и сколько их развелось! Они пожирали трупы, по ночам выли и лаяли, а днем шмыгали по укромным местам. Я замечал, как постепенно менялись их повадки. Поначалу собаки держались по отдельности — настороженные, готовые вот-вот вцепиться друг другу в глотку. Но скоро они стали сходиться в стаи. Ведь собака всегда была общественным животным — даже до того, как ее приручил человек. Перед чумой было очень много разных пород собак: короткошерстные и с густым, теплым мехом, совсем крохотные и огромные —

точно кугуары, которые без труда могли проглотить их. Так вот, маленькие и слабые собаки гибли от клыков своих собратьев. Вывелись и очень крупные, не приспособленные к дикой жизни. Различия между породами исчезли, и теперь стаями водятся лишь те собаки, которых вы видите, — похожие на волков.

— Но ведь кошки не водятся стаями? — возразил Хоу-Хоу.

— Кошка никогда не была общественным животным. Кошка гуляет сама по себе, как писал один автор в девятнадцатом веке. Кошка всегда гуляла сама по себе: и тогда, когда ее приручил человек, и потом, когда веками одомашнивал ее, и теперь, когда она снова стала диким животным.

Лошади тоже одичали, и все великолепные, выведенные человеком породы выродились в теперешних низкорослых мустангов. Одичали коровы, голуби, куры. Куры водятся и сейчас, но совсем не те, какие были прежде.

…Я, кажется, отвлекся?.. Я брел, словно по пустыне. Шло время, и я начал тосковать по людям. Но мне никто не попадался на пути, и я чувствовал себя все более и более одиноким. Я пересек долину Ливермор и горную цепь, которая отделяет ее от другой, очень большой долины Сан-Хоакин. Вы не бывали там, но это очень большая долина, где водятся дикие лошади. Они ходят огромными, тысячными табунами. Я сам видел их, когда побывал там еще раз тридцать лет спустя. Вот вы считаете, что здесь, на побережье, много лошадей, но это ничто по сравнению с Сан-Хоакином. И еще одна любопытная вещь; одичавшие коровы перебрались на горные склоны. Там им, вероятно, было легче защищаться от врагов.

В сельских местностях грабители и мародеры бесчинствовали меньше, чем в городах, ибо мне попадалось много ферм и поселений, не тронутых пожарами. Но трупы, распространяющие заразу, виднелись повсюду, так что я шел, нигде не останавливаясь подолгу. Мне было так тоскливо, что около Лейтропа я подобрал двух шотландских овчарок; они настолько отвыкли быть свободными, что были рады снова подчиняться человеку. Эти овчарки на долгие годы стали моими верными спутниками, и капля их крови есть даже в ваших собаках, мальчики. Но самая порода эта за шестьдесят лет совсем вывелась. Эти псы — скорее одомашненные волки.

Заячья Губа, уставший от долгого повествования, поднялся на ноги, посмотрел на стадо коз, потом прикинул положение солнца на небе. Эдвин попросил старика рассказывать поскорее, и тот продолжал:

— Осталось совсем немного… Верхом на лошади, которую мне удалось поймать, и в сопровождении двух овчарок и пони я пересек Сан-Хоакин и направился к чудеснейшей Иосемитской долине в горах Сьерра-Невады. Там в огромном отеле я нашел большой запас консервов. Кроме того, всюду были тучные пастбища, множество дичи и в реке, что протекала через долину, полным-полно форели. Я прожил там в полнейшем одиночестве три года. Что это значит, может понять только цивилизованный человек. Потом я не выдержал. Я чувствовал, что сойду с ума. Человек, как и собака, — общественное животное, он не может существовать один. Если я выжил, то, значит, выжил кто-нибудь еще, рассуждал я. К тому же за три года чумные микробы наверняка погибли и земля очистилась от скверны.

Верхом на лошади, прихватив овчарок и пони, я отправился в обратный путь. Снова пересек Сан-Хоакин, перевалил через кряж, спустился в долину Ливермор и поразился переменам. Я не узнал здешних мест: превосходно обработанные поля и сады сплошь поросли сорняками. Ведь люди так старательно выхаживали пшеницу, овощи и плодовые деревья, что они стали нежными и слабыми, а сорная трава и дикий кустарник были неприхотливыми и привыкли

сопротивляться человеку. И вот когда люди перестали обрабатывать землю, они заглушили культурные растения. Во множестве расплодились койоты, и тут я впервые встретил волков — парами, по трое, небольшими стаями спускались они с холмов, где жили прежде.

И вот у озера Темескал, недалеко от того места, где некогда стоял Окленд, я наконец встретил живых людей. Мальчики, как вам описать мое волнение, когда верхом на лошади, спускаясь с холма к озеру, я увидел между деревьями дымок от костра! Сердце у меня замерло. Я думал, что сойду с ума от радости. Потом я услышал плач младенца, понимаете, живого младенца! Тут же залаяли собаки, и мои овчарки залаяли тоже. Я настолько привык к мысли, что я единственный, кто пережил чуму, что не мог поверить ни в дымок, ни в детский плач.

И вдруг там, на берегу озера, футах в ста от себя, я увидел рослого мужчину. Он стоял на камне, торчавшем из воды, и удил рыбу. Я не мог побороть волнения. Я остановил лошадь и хотел крикнуть, но не сумел. Тогда я помахал рукой. Мне показалось, что человек посмотрел в мою сторону, но он не помахал мне в ответ. Не сходя с лошади, я опустил голову и зажмурился. Я боялся посмотреть туда снова, ибо знал, что это только мираж, что открой я глаза — и человек исчезнет. Но так дорого было мне это видение, что я не хотел, чтобы оно пропадало. И оно не пропадет, я знал это, пока я не открою глаза!

И я сидел так, опустив голову, пока не услышал ворчание собак и мужской голос. Как вы думаете, что он произнес, этот голос? Я скажу вам. Он произнес: «Откуда вы взялись, черт вас побери?» Вот какими словами твой второй дед, Заячья Губа, приветствовал меня на берегу озера Темескал пятьдесят семь лет тому назад. Нет, это ни за что не передать! Я открыл глаза — передо мной стоял рослый, загорелый, обросший волосами человек с тяжелой челюстью, низким лбом и свирепыми глазами. Я не помню, как спешился. Знаю только, что в следующее же мгновение я схватил обеими руками его за руку и зарыдал. Я обнял бы его, если бы он не отодвинулся: он всегда был угрюмым, недоверчивым человеком. И тем не менее я рыдал и не отпускал его руку.

Голос деда дрогнул и осекся от нахлынувших воспоминаний, а по щекам покатились старческие слезы. Мальчишки смотрели на него и посмеивались.

— Да, я рыдал и хотел обнять его, хотя Шофер был негодяем, бесчувственным животным. Я не встречал человека отвратительнее. Звали его… Постойте, как же его звали? Я, кажется, забыл, странно!.. Впрочем, все звали его Шофером. Так называлась его профессия, и эта кличка пристала к нему. Вот почему племя, которое он основал, до сих пор называется племенем Шофера.

Он был крайне злой и бесчестный человек. Понять не могу, почему чума пощадила его. Несмотря на все наши метафизические представления об абсолютной справедливости, в мире, казалось, нет никакой справедливости. Почему выжил именно он, моральный урод, грязное пятно на лике природы и ко всему такой подлый мошенник, каких свет не видывал? Он способен был разговаривать только об автомобилях, моторах, бензине, гаражах; с особым удовольствием рассказывал он, как водил за нос и нагло обирал людей, у которых он служил перед тем, как вспыхнуть чуме. И вот, несмотря на все, ему суждено было уцелеть, тогда как погибли сотни миллионов, да нет, миллиарды людей, которые были лучше его!

Мы отправились с Шофером в его становище. И вот там-то я увидел Весту, ту самую Весту. Это было великолепно и… горько до слез. Веста Ван Уорден, молодая жена Джона Вана Уордена, одетая в лохмотья, склонилась над костром и мозолистыми, покрытыми ссадинами руками размешивала какое-то варево — та самая Веста, которой от рождения было назначено владеть самым большим в истории человечества состоянием. Ее муж, Джон Ван Уорден, стоивший один

миллиард восемьсот миллионов долларов, был президентом Правления Промышленных Магнатов и правил Америкой. Кроме того, он был членом Международного Комитета Контроля, то есть одним из семи человек, которые правили миром. Да и сама Веста — из такой же благородной семьи. Ее отец, Филипп Сэксон, был президентом Правления Промышленных Магнатов вплоть до своей смерти. Этот пост сделался почти наследственным, и, будь у Филиппа Сэксона сын, он стал бы его преемником. Но у него был единственный ребенок, Веста, редчайший цветок, созданный веками самой высшей, какие знала наша планета, культуры. После того как было объявлено о помолвке Весты и Вана Уордена, Сэксон назначил будущего зятя своим преемником. То был, разумеется, сугубо политический брак. Наподобие тех, что практиковались среди венценосных особ до того, как их сменили у власти Магнаты. У меня есть основания полагать, что Веста никогда не любила своего мужа той безумной, страстной любовью, которую воспевали поэты.

И вот эта самая Веста варит в закопченном чугунке какую-то рыбную похлебку, и прекрасные глаза ее воспалены от едкого дыма! Да, нелегко ей пришлось! Она была единственной, выжившей из миллиона, так же, как я и Шофер. В свое время над самым заливом Сан-Франциско, на живописнейшем холме близ Аламеды, Ван Уорден построил роскошную летнюю резиденцию. Дом окружал огромный, в тысячу акров, парк. Туда-то он и отправил свою жену, когда вспыхнула чума. Парк охранялся вооруженными стражниками, поэтому ничто: ни провизия, ни даже письма — не попадало в дом, не пройдя дезинфекцию. И все-таки зараза проникла в резиденцию, поражая стражников на посту, слуг за работой и великое множество приближенных, по крайней мере, тех, кто не сбежал, — да и те, кто сбежал, все равно погибли. Веста осталась единственным живым человеком во всем дворце, который превратился в настоящий морг.

Шофер был из тех, кто сбежал. Два месяца спустя он вернулся и обнаружил, что Веста укрылась в летнем павильоне, где находилась в полной безопасности. Шофер был точно дикий зверь. Веста спряталась среди деревьев и в ту же ночь ушла пешком в горы — она, чьи изящные ножки никогда не ступали по острым камням и чьей нежной кожи не касались колючки шиповника. Он кинулся за ней и настиг в ту же ночь. Этот негодяй ударил ее, можете себе представить? Избил своими здоровенными кулачищами и сделал рабыней. Той, что ни разу в жизни не запачкала рук, приходилось теперь собирать хворост, раскладывать костер, стряпать и вообще выполнять всю черную работу. Шофер заставлял ее трудиться в поте лица, а сам, как настоящий дикарь, валялся на траве и глазел на нее. Он не желал ничего делать, за исключением тех редких случаев, когда отправлялся на охоту или рыбную ловлю.

— Ну и правильно! — заметил вполголоса Заячья Губа мальчишкам. — Я хорошо его помню. Дядька что надо! Все прибрал к рукам, и его отчаянно боялись. Отец женился на его дочери. И посмотрели бы, какие Шофер ему взбучки давал! Злой как черт был. Мы у него по струнке ходили. Даже когда умирал, приподнялся и в кровь расшиб мне голову своей длинной палкой — всегда ее при себе держал.

Заячья Губа в задумчивости потер круглую голову, и мальчишки снова повернулись к старику, который восторженно расхваливал Весту, принадлежащую основателю племени Шофера.

— Вы даже представить себе не можете, до чего чудовищно все сложилось! Шофер был слуга, понимаете, простой слуга. Он пресмыкался перед людьми ее круга. А она — властительница как по рождению, так и по браку. В ее маленькой нежно-розовой ладони умещались судьбы миллионов таких, как он. В мои времена малейшее общение с людьми, подобными Шоферу, осквернило бы Весту. Я хорошо это знаю. Помню один случай. Миссис Голдвин, супруга одного из Магнатов, собираясь подняться по трапу в собственный дирижабль, уронила зонтик. Слуга совершил непростительный промах: он поднял зонтик и подал его самой миссис Голдвин,

одной из самых знатных леди мира! Она отпрянула от слуги, как от прокаженного, и подала секретарю знак взять зонтик. Она тут же приказала, кроме того, узнать имя невежды и проследить, чтобы ему немедленно отказали от места. Такой же была и Веста Ван Уорден. А Шофер сделал ее своей рабыней и издевался над ней.

…Вспомнил! Билл, Шофер Билл — вот как его звали! Грубое, тупое существо, лишенное какого бы то ни было благородства, не знающее великодушных побуждений, свойственных культурному человеку. Нет, абсолютной справедливости не существует, иначе не досталось бы такому негодяю то чудо из чудес, каким была Веста Ван Уорден. Мальчики, вам не понять трагизма положения, ведь вы и сами грубые маленькие дикари, не знающие ничего, помимо своей дикой жизни! Почему Веста не стала моей? Я человек утонченной культуры, профессор большого университета. И, несмотря на это, она не снизошла бы до знакомства со мной — такое высокое положение она тогда занимала! Так вообразите всю глубину унижения, которое она претерпела, попав в руки Шоферу. И если бы не крах цивилизации, никогда я не познакомился бы с ней, не смел бы смотреть ей в глаза, разговаривать с ней и касаться ее руки и… любить, да, да, любить и знать, что она отвечает мне взаимностью. Я верю, знаю: она даже полюбила бы меня — ведь подле нее не было другого мужчины, кроме Шофера. Почему чума, погубив восемь миллиардов человек, не убила еще одного — Шофера?

Однажды, когда Шофер ушел удить рыбу, она стала умолять меня убить его. Она молила меня со слезами на глазах. Но я боялся, боялся его ярости, силы. После, правда, у нас был разговор. Я предлагал ему свою лошадь, пони, овчарок, все, чем владел, лишь бы он отдал мне Весту. Но он только смеялся мне в лицо и мотал головой. Он оскорблял меня. Он заявил, что прежде был слугой, им помыкали мужчины вроде меня и такие женщины, как Веста, а теперь самая знатная дама на земле прислуживает ему, стряпает пищу и нянчит его ублюдков. «Ваше времечко было до чумы. А нынче мое времечко, и неплохое, вот так-то! Ни за какие деньги не соглашусь вернуть прошлое!» Так он сказал, хотя не этими в точности словами. С уст негодяя то и дело срывалась отвратительная брань.

И еще он предупредил меня, что оторвет мне голову и задаст Весте взбучку, если заметит, что я заглядываюсь на нее. Что мне оставалось делать, я же боялся его! Он был как дикий зверь. В тот вечер, когда я набрел на их стоянку, мы с Вестой долго вспоминали о нашем исчезнувшем мире. Мы говорили об искусстве, книгах, стихах, а Шофер слушал и глупо ухмылялся. Его очень скоро утомил и разозлил наш разговор, в котором он не понимал ни слова, и тогда он встал и заявил: «Видите Весту Ван Уорден? Заносчивая была красавица и важная птица — жена Магната Ван Уордена. А теперь она моя женщина. Да, профессор Смит, времена изменились, сильно изменились! Эй, женщина, сними-ка с меня мокасины, да поживей! Я хочу, чтобы профессор Смит знал, как я тебя вышколил!»

Я видел, как Веста прикусила губу, а в ее глазах зажегся огонек ненависти. Он замахнулся своим узловатым кулачищем, и я испугался. Я не мог бы одолеть его. Поэтому я встал, чтобы уйти, не быть свидетелем подобного унижения. Но Шофер захохотал и пригрозил поколотить меня, если я не останусь. И я вынужден был сесть и смотреть, как у костра на берегу озера Темескал Веста Ван Уорден встала на колени и принялась стягивать мокасины с ног ухмыляющейся волосатой обезьяны.

…Нет, мальчики, вам не понять этого! Вы ничего не видели и ничего не знаете. Вам не понять!

«И к узде приучена и к седлу, — посмеивался Шофер, пока Веста выполняла его ужасное и унизительное приказание. — Иногда артачится, шалит, знаете ли. Но разок двинешь ей в морду, и снова, как ягненок».

А в другой раз он сказал мне: «Нам надо начинать все сначала: плодиться и заселять землю. Вам просто не повезло, профессор. У вас нет женщины, а дело у нас тут обстоит так же, как в райских кущах. Но я не гордый, и вот что вам скажу. — Он показал на крохотную, чуть побольше годика, девчурку. — Вот вам жена! Конечно, придется подождать, пока она подрастет. Здорово, правда? Мы здесь все одинаковы, но сила-то у меня. И все-таки я не задаюсь: не по мне это. Профессор Смит, я оказываю вам честь, большую честь. Я согласен на помолвку нашей дочери, дочери Шофера и Весты Ван Уорден, с вами! Эх, дьявол побери, посмотрел бы Ван Уорден!»

VI

Три недели промучился я в становище Шофера. То ли я просто-напросто надоел ему, то ли ему показалось, что я дурно влияю на Весту, но так или иначе однажды он рассказал, что год назад, пробираясь холмами Контра Коста к проливу Каркинез, он видел за проливом дымок. Это означало, что там обитали люди. А он три недели скрывал от меня это бесценное сведение. Я немедленно отправился в путь со своими лошадьми и овчарками и, пройдя холмы Контра Коста, вышел к заливу. Я не увидел на другом берегу никакого дыма, но в Косте обнаружил небольшую барку, куда погрузил своих животных. Из куска старой парусины я соорудил парус; и южный бриз погнал барку через залив к развалинам Валлехо. На окраине города мне попались следы недавней стоянки. По множеству раковин съедобных моллюсков я понял, почему эти люди пришли на побережье. Как выяснилось впоследствии, это было племя Санта-Роса. Я двинулся за ними в долину Сонома через соляные топи, вдоль железнодорожного пути. Там, у разрушенного кирпичного завода в Глен Эллен, я наткнулся на стоянку. Их было восемнадцать человек. Среди них — двое стариков: один — банкир Джонс, другой — удалившийся от дел владелец ломбарда Гэррисон. Последний взял себе в жены сестру-хозяйку психиатрической больницы в городе Напа. Из всего населения Напа и окрестных поселений и ферм в этой некогда многолюдной и плодородной долине выжила одна она. В племени были трое мужчин помоложе: Кардиф и Хейл — фермеры и Уэйнрайт — простой батрак. Каждый из них имел жену. Хейлу, простоватому и необразованному фермеру, досталась Исидора — самая прекрасная после Весты женщина, пережившая чуму. Она считалась одной из знаменитейших певиц в мире. Эпидемия застала ее в Сан-Франциско. Она часами рассказывала мне о своих странствиях и приключениях, которые кончились, когда в лесном заповеднике Мендосино ее подобрал Хейл, и ей не оставалось ничего иного, как стать его женой. Хейл, по счастью, оказался неплохим человеком, хотя и был необразованный фермер. Он обладал острым чувством справедливости и необыкновенной честностью. Исидоре было с ним несравненно лучше, чем Весте с Шофером.

Жены у Кардифа и Уэйнрайта были женщины из народа, с крепким сложением, привыкшие к труду, — тип, наилучшим образом приспособленный к условиям дикой жизни, которую им приходилось вести. Кроме того, в племени были двое умалишенных из сумасшедшего дома в Элдредже и пять-шесть ребятишек и младенцев, появившихся на свет уже после образования племени. И была еще Берта, совсем неплохая женщина, — ты слышишь, Заячья Губа? — хотя твой отец и прохаживался на ее счет. Я взял ее в жены. Она мать твоего отца, Эдвин, и твоего тоже, Хоу-Хоу. А наша дочь Вера вышла замуж за отца Заячьей Губы, Сэндоу, который был старшим сыном Весты Ван Уорден и Шофера.

Так я стал девятнадцатым членом племени Санта-Роса. После меня к племени пристали только двое чужаков. Один — Мангерсон, потомок Магнатов, восемь лет бродил по лесам Северной Каролины, прежде чем отправился на юг, и встретил нас. Это ему пришлось ждать двенадцать лет, пока подрастет моя дочь Мери, чтобы жениться на ней. Другого звали Джонсон — он основал племя Юта. Он ведь пришел к нам из Юты, страны, которая лежит очень далеко на

востоке, за бескрайними пустынями. Он добрался до Калифорнии через двадцать семь лет после эпидемии. Он рассказывал, что в Юте выжило только трое, включая его самого, — и все мужчины. Много лет они охотились вместе и наконец впали в отчаяние, ибо боялись, что с их смертью прекратится на земле человеческий род. Поэтому они двинулись на запад в надежде найти в Калифорнии женщин. Только Джонсону удалось пробраться через великую пустыню: двое его спутников погибли в пути. Когда он встретил нас, ему было уже сорок шесть лет. Он женился на четвертой дочери Исидоры и Хейла, а старший сын его женился на твоей тетке, Заячья Губа, на третьей дочери Весты и Шофера. Джонсон был сильный, волевой человек. Поэтому он отделился от Санта-Росов и образовал в Сан-Хосе племя Юта. Совсем небольшое племя — всего девять человек. Джонсон умер, но благодаря его былому влиянию и здоровому потомству племя Юта станет сильным племенем и сыграет ведущую роль в возрождении цивилизации на земле.

Нам известны еще только два племени: Лос-Анжелиты и Кармелиты. Кармелиты пошли от одного мужчины и одной женщины. Мужчину звали Лопес, кожа у него была смуглая, потому что дальние его предки были древние мексиканцы. Он был пастухом на скотоводческих ранчо за Кармелом, а его жена — горничная в большом отеле в Дель Монте. Семь лет мы ничего не знали о существовании Лос-Анжелитов. У них там хороший край, правда, слишком жарко. Я полагаю, что теперешнее население земли составляет триста пятьдесят — четыреста человек, если, разумеется, не обитают еще где-нибудь крохотные племена. Но мы о них, во всяком случае, не знаем. С тех пор как Джонсон пришел к нам из Юты, мы не имеем никаких сведений ни с востока, ни из других мест. Тот огромный мир, который я знал во времена своего детства и молодости, исчез. Он перестал существовать. Я последний свидетель Алой Смерти, и только мне известны чудеса того давно ушедшего мира. Люди, которые были всемогущи, как боги, и владели землей, небесами и морями, ведут теперь первобытный образ жизни на берегах калифорнийских рек.

У нас рождается много детей. Вот, к примеру, у твоей сестры, Заячья Губа, их уже четверо. Людей становится больше, и они снова готовятся к восхождению на вершины цивилизации. Настанет время, когда людям станет здесь тесно, и они начнут расселяться, и можно ожидать, что через несколько сотен поколений наши далекие потомки постепенно перевалят через Сьерра-Неваду и с каждым новым поколением будут продвигаться по нашему великому континенту на восток, заселяя все новые и новые земли. Опять начнутся великие переселения арийских народов.

Но это будет происходить медленно, очень медленно: слишком много предстоит сделать. События отбросили нас далеко назад. Если бы остался в живых хоть один физик или химик! Но они погибли, а мы перезабыли все, что знали. Шофер начал, правда, обрабатывать железо. Он смастерил кузнечный горн, которым мы пользуемся до сего времени. Но он был ленив, и, когда умер, унес с собой в могилу все, что знал о металлах и машинах. А мне откуда было знать о таких вещах? Мое дело — классическая философия, а не химия. Шофер научил нас только двум вещам: варить огненный напиток и выращивать табак. И, однажды, напившись, он убил Весту. Я убежден, что он убил Весту в приступе пьяной жестокости, хотя он всегда утверждал, что она упала в озеро и утонула.

Мальчики, я дам вам один совет: берегитесь знахарей. Они называют себя д о к т о р а м и, принижая благородную некогда профессию. На самом же деле они, знахари, шаманы, играющие на предрассудках и невежестве. Обманщики и шарлатаны — вот кто они такие. А мы так опустились, что верим их выдумкам. Их становится все больше так же, как и нас, — они попытаются подчинить нас себе. Так что помните: они обманщики и шарлатаны. Посмотрите, например, на Косоглазого. Он хоть и молод, но уже называет себя доктором. Он продает снадобья от болезней, обещает удачную охоту и хорошую погоду — за мясо и шкуры, посылает

людям черную палку, означающую смерть, и творит тысячу иных мерзостей. Он говорит, что все может, а я утверждаю, что он лжет. Я, профессор Джеймс Говард Смит, утверждаю, что он лжет. Я говорил это ему в глаза. Почему он не послал мне черную палку? Да потому, что на меня его заклинания не действуют, и он отлично знает это. А вот ты, Заячья Губа, настолько погряз в суевериях, что умрешь от страха, если, проснувшись вдруг ночью, найдешь подле себя такую палку. И ты умрешь не от каких-то особых свойств черной палки, а потому, что ты дикарь, невежественный, темный дикарь!

Знахарей надо уничтожать и открывать заново те знания, которые люди утратили. Поэтому я снова повторяю вам то, что вы должны всегда помнить и передать своим детям. Вы должны рассказать им, что, когда огонь нагревает воду, в ней появляется удивительная вещь, которая называется паром. Пар сильнее, чем десять тысяч человек, и может делать за них всю работу. В вспышке молнии таится такой же сильный слуга человека, издавна верный раб его, который снова должен стать его рабом.

Совсем иная штука — алфавит. С помощью алфавита я знаю, что означают особые маленькие знаки, тогда как вы, мальчики, знаете только примитивное пиктографическое письмо. В сухой пещере на Телеграф Хилл, куда я захожу, когда наше племя спускается к морю, я спрятал много книг. В них великая мудрость. Там же есть и ключ к алфавиту, так что человек, знающий пиктографическое письмо, может научиться читать книги. Когда-нибудь люди снова будут уметь читать, и, если ничего не случится с пещерой, они узнают, что некогда жил профессор Джеймс Говард Смит, который сохранил для них мудрость древних.

Еще существовало одно хитрое вещество, которое люди неизбежно откроют снова. Оно называется порохом. С помощью пороха мы убивали на больших расстояниях и наверняка. В земле имеются некоторые вещества, их смешивают в определенном соотношении, и тогда получается порох. Я забыл, что это за вещества, а может быть, никогда и не знал. И очень сожалею об этом. Если бы я знал, я сделал бы порох, и убил бы Косоглазого, и спас людей от суеверий…

— Когда я вырасту, я отдам Косоглазому всех коз, и мясо, и шкуры, которые я добуду, чтобы он научил меня, как стать доктором! — заявил Хоу-Хоу. — И тогда все будут уважать меня и слушаться. Люди будут кланяться мне.

Старик грустно кивнул головой и пробормотал:

— Странно слышать остатки сложных форм арийской речи из уст грязного маленького дикаря, одетого в звериные шкуры! Мир опрокинулся вверх дном. И причиной всему чума.

— А я не стану тебя слушаться, — гордо сказал Заячья Губа будущему знахарю. — Если я заплачу тебе, чтобы ты послал кому-нибудь черную палку, а он не умрет, я убью тебя; запомни это, Хоу-Хоу!

— А я сделаю так, чтобы дед вспомнил вещества, из которых приготовляется порох, — сказал Эдвин негромко. — И тогда подчиню себе всех вас. Ты, Заячья Губа, будешь сражаться за меня и добывать мясо, а ты, Хоу-Хоу, по моему приказанию станешь посылать черную палку, чтобы меня боялись. Если Заячья Губа попробует убить меня, я прикончу его этим порохом. Нет, дед не такой глупец, как вы думаете, и я буду слушать его рассказы и когда-нибудь стану главным над вами!

Старик печально покачал головой.

— Снова изобретут порох. Это неизбежно: история повторяется. Люди будут плодиться и

воевать. С помощью пороха они начнут убивать миллионы себе подобных, и только так, из огня и крови, когда-нибудь в далеком будущем, возникнет новая цивилизация. Но что толку? Как погибла прежняя цивилизация, так погибнет и будущая. Потребуется, может быть, пятьсот тысяч лет, чтобы построить ее, но так или иначе она погибнет. Все погибает и проходит. Не исчезнут только космическая сила и материя — они вечно движутся, взаимодействуют и создают три непреходящих типа: священника, солдата и правителя. Устами младенцев глаголет истина веков. Одни будут сражаться, другие — молиться, третьи — править, а остальные — большинство

— трудиться в поте лица и страдать, и на их кровоточащих трупах снова и снова будут воздвигать то необыкновенное, чудесной красоты здание, которое называется цивилизованным государством. Оно будет расти, несмотря ни на что; даже если не сохранятся спрятанные в пещере книги, люди все равно откроют старые истины и начнут поклоняться старой лжи и учить тому же своих детей. Что толку?..

Заячья Губа вскочил на ноги и, быстро оглядев пасущихся коз, посмотрел на заходящее солнце.

— Старик с каждым днем становится все болтливее, — сказал он Эдвину.

— Пошли в становище!

Хоу-Хоу и Заячья Губа позвали собак, сбили коз в стадо и погнали их к лесной тропе, а Эдвин остался со стариком и помог ему идти. Когда они добрались до железнодорожной насыпи, Эдвин остановился и посмотрел назад. Заячья Губа и Хоу-Хоу с козами и собаками пошли дальше. Эдвин смотрел на диких лошадей, спустившихся с холмов на песчаный берег. Табун был небольшой, десятка два голов — жеребята, годовики, взрослые кобылицы, а у самой воды в пене прибоя стоял великолепный жеребец — выгнув шею и поводя блестящими дикими глазами, он принюхивался к соленому запаху моря.

— Что там? — спросил дед.

— Лошади, — отвечал мальчик. — В первый раз вижу их на берегу. В горах развелось много кугуаров, и лошади идут сюда.

Солнце склоняется к горизонту, затянутому беспорядочной грядой облаков, и красные лучи его веером расходились по небу.

А из белой пены разбивающихся о берег волн выползали на черные камни морские львы; они играли, дрались, любили и пели свою песнь, как и тысячи веков назад.

— Пойдем, дед, — позвал Эдвин.

И они зашагали вдоль полотна в лес вдогонку за стадом — одетые в шкуры, — старик и мальчишка.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch